

марк торрес

НЕ ТО, ЧЕМ КАЖЕТСЯ



цикл "пепельный берег"

18+

Марк Торрес

**Пепельный берег.
Не то, чем кажется**

«Автор»

2026

Торрес М.

Пепельный берег. Не то, чем кажется / М. Торрес — «Автор», 2026

Пепельному берегу нет и двух веков. Сюда плывут за чистым листом, и в портах давно выучились не спрашивать, откуда человек и что тянется за ним следом: любая пара рук на счету, а правда ещё никого не украшала. Они познакомились в трактирной драке, в которую не собирались лезть, - абсолютно случайно. К утру они были соучастниками. Работу предложил рогатый незнакомец из тёмного угла: простое дело на одну ночь, деньги вперёд. Ни один не спросил, на кого работает. Спрашивать было не принято, а деньги нужны были всем. С этой ночи и начинается всё прочее. И почти ничего из прочего не окажется тем, чем казалось поначалу: ни наниматель, ни спасённые, ни спасители, ни цена, о которой вроде бы честно договорились. Это не книга про героев. Настоящие герои от такой компании отваливаются на первом же завтраке. Это книга про то, как из горстки неудачников - у каждого свой изъян и своя беда - всё-таки получается команда. Получится. Хуже другое: их наконец заметят.

© Торрес М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От Автора	5
Глава 1. Дело на одну ночь	6
Глава 2. Всего лишь шум	18
Глава 3. Дурное место	36

Марк Торрес

Пепельный берег. Не то, чем кажется

От Автора

Друзьям, с которыми мы творили этот мир, — и творим до сих пор.

Эта книга выросла из настольной игры. С 2023 года мы с друзьями собираемся за одним столом и водим кампанию по Пепельному Берегу (авторскому сеттингу) — и в какой-то момент мне захотелось, чтобы всё это осталось не только в нашей памяти да в наспех нацарапанных заметках, но и на бумаге.

История ещё не закончена. Мы всё ещё играем; книга пишется вместе с кампанией, почти вживую, — и, если честно, чем всё кончится, я знаю немногим лучше, чем мои герои. Что-то на этих страницах случилось за столом ровно так, как рассказано; что-то я домыслил, пригладил и досочинил — и за это, как автор, отвечаю сам. Мои соигроки вправе помнить те же вечера иначе. Так и должно быть: мир этот — общий, а книга — лишь мой на него взгляд.

Для меня это опыт особого рода — писать не историю, выдуманную с чистого листа, а ту, что мы проживаем вместе. И потому — спасибо.

Артёму — тому, кто собрал нас всех за одним столом и дал этому приключению начало. Без него не было бы ни партии, ни, стало быть, этой книги.

Фёдору — другу и первому читателю, тому, кто первым сказал: пиши дальше.

Моей жене Алёне — за поддержку, за терпение и за то, что от её замечаний текст всякий раз становился лучше.

Антону — за рецензию и за помощь в редакции, за придирчивый глаз, которому текст обязан тем, что стал лучше.

И - всем, кто поддержал эту странную затею: написать книгу по мотивам собственной партии. Вы знаете, о ком я.

А теперь — таверна, дым, летящая посуда. Добро пожаловать в нашу партию.

Глава 1. Дело на одну ночь

Говорят, приключенцы плодятся здесь быстрее крыс. Сравнение обидное — но для крыс: те, по крайней мере, знают, когда бежать. А в остальном сходство честное: и те, и другие ночуют в подвалах, кормятся чужими объедками и исчезать умеют одинаково ловко — только крыса исчезает за миг до того, как опустится сапог, а приключенец — за миг до того, как подадут счёт. Разница лишь в том, что у приключенца вместо хвоста — меч, а вместо инстинкта самосохранения — убеждённость, будто мир перед ним в долгу.

На Карангарский берег таких выносило со всего света. Свет, правда, был один — Старые Земли за морем; и стары они были по-настоящему: жилы выбраны, леса сведены, земля расписана до последней межи. Берег же был молод — ему и двух веков не набралось — и выскоблить его ещё не успели. Приручить, впрочем, тоже: вглубь от воды карты обрывались за первыми же горами, а слухи о тамошнем спорили до хрипоты и сходились лишь в одном — кто уходил проверять, тот с ответом не возвращался. Потому и жались к воде. Сюда плыли за чистым листом; народу набралось всякого, всех кровей и мастей, и в портах быстро выучились не спрашивать, откуда человек и что тянется за ним следом, — пара рук на счету любая, а правда ещё никого не украшала. На том здешняя жизнь и стояла: каждому было что скрывать, и оттого никто не спрашивал.

Триволь был городком того особого размера, при котором любая ссора делается общим праздником, всякий же праздник рано или поздно кончается ссорой. С моря тянуло солью и гниющими водорослями, из проулков — рыбой и дёгтем; волны били в сваи под складами мерно и терпеливо, будто море считало дни до того, как заберёт всё это обратно. Над рыбными рядами дрались чайки. Молод Триволь был даже по меркам молодого берега — моложе иных своих завсегдатаев: по кабакам тут ещё сидели дворфы, помнившие этот берег без пристани, и один эльф, помнивший его без Триволя. Бургомистр в своих речах именовал Триволь «вторым Карангаром», и звучало это внушительно ровно до той минуты, пока ветер не поворачивал со стороны канализации.

В таверне «У сонного гнома» готовились к празднику, а значит — к беде. Хозяйка, женщина с руками, способными одновременно домыть кружку и вышибить зуб, металась между столами и кричала, что ей нужен покой. В очаге трещал огонь, дым низко висел под балками и въедался в шерсть плащей. На галерее немолодой менестрель тянул балладу о рыцаре, что зарубил дракона и взял в жёны принцессу. Дракон в его версии выходил заметно смышленнее рыцаря, но об этом менестрель благоразумно умалчивал: за ум в балладах не платят.

Всё началось, как всегда, с чужой драки.

За длинным столом у окна играли в кости, и кто-то крикнул, что кости заряжены. Владелец костей оскорбился совершенно искренне: заряженными были запасные — эти же он как раз бросал честно. Обида, подкреплённая четырьмя кружками, требует размаха, но в тесном зале любой размах приходится по третьему — третий же разбираться не станет. Через минуту дрались все, кто мог стоять, и кое-кто из тех, кто уже не мог.

Четверо, которым этой ночью предстояло стать соучастниками, сидели в тот вечер по разным углам и друг о друге не подозревали. Свело их не провидение — провидение в такие заведения не заглядывает. Свела их таверна, каждого — своей мелочью.

Чей-то локоть смёл со стола ужин полурослика — недоеденный и ещё не оплаченный. Пустяк, казалось бы; но полурослик был из тех, кто платит ровно по счёту и ровно по счёту взыскивает, — а его счёт этой ночью только что смахнули на пол чужим локтем. Насилия он не любил — грубый инструмент там, где обычно хватает терпения и отмычки, — но за испорченный ужин полагалось спросить. Ростом он был человеку по пояс, шатен с жёсткими кудрями и лицом, какое глаз не держит: увидишь — и через минуту не вспомнишь, а вспомнишь, так

уже когда обнаружишь, что кошелёк полегчал. Руки, впрочем, выдавали ремесло — короткие сильные пальцы в мелких ожогах и старых порезах, что остаются у того, кто с равным усердием куёт железо и вскрывает чужие замки. Он аккуратно промокнул рукав, слез с лавки и пошёл выискивать.

Мальчишку-полового, метавшегося между столами с подносом, сбили с ног — и толпа уже смыкалась над ним, когда светловолосый мужчина в полулатах поднял его за шиворот, как котёнка, и переставил себе за спину. С той секунды всякий, кто летел в ту сторону, встречал сначала кулак, потом извинение. Извинения не мешали им валиться с ног.

Гора мышц с секирой за спиной весь вечер скучала над элем, ожидая приглашения. Северянин — из той породы, которой под низкими балками трактира приходится помнить о голове; нос ему ломали столько раз, что хозяин сбился со счёта, а сам нос лёг набок, а в ухмылке недоставало пары зубов, по одному за каждую особо весёлую драку. Приглашением сошёл табурет, просвистевший у виска. В драку он вошёл, как входят в тёплое море, — с разбега и с наслаждением.

А у очага, забившись в самый угол, переживал свалку старый трактирный пёс. Когда чья-то скамья грохнулась в ладони от его носа, эльфийка с двумя тугими косами молча поднялась с лавки — без спешки и без единого лишнего движения. Первый же, кто на неё замахнулся, неожиданно для себя обнаружил, что сидит на полу и не помнит, как там оказался; со вторым и третьим вышло не лучше. Задирать её быстро расхотелось всем, и вокруг неё образовалось пустое место, какого в разгар свалки просто так не бывает. Ничего от той эльфийской породы, которой её славят в балладах, в ней не было: не красавица и не диво, а худая, обветренная, неприметная — из тех, кого в трактире принимают за прислугу и, обознавшись, тут же забывают.

Дальше таверна расставила их сама, как умеет расставлять только таверна: в тесноте, в дыму, среди летящей посуды четверо трезвых и стоящих на ногах оказались спиной к спине посреди зала — просто потому, что стоять больше было негде. Толпа тут же сочла их компанией и принялась бить как команду. Пришлось соответствовать.

Столы полетели в окна, кружки в потолок, один из стражников — через люк в подвал, к вину и крысам. Окна выбили не по злобе: столы просто не пролезали в двери; в разгаре драки же не до геометрии. Другой стражник, с рассечённой бровью, полз среди опрокинутых стульев и бормотал что-то про закон и его величие. На него старались не наступать.

В углу, куда не доставали ни свет очага, ни летящая мебель, сидел туган. Он не дрался. Он смотрел. Трактирных драк он повидал тысячу, и все они были скучны, как проповеди; занятным было другое. Четверо чужаков, полминуты как втянутых в чужую свару каждый со своего угла, стояли спина к спине и не мешали друг другу — такому не учат, оно либо есть, либо нет. Вдобавок полурослик между ударами успевал коситься на дверь: за ним, стало быть, ходили, и он об этом знал. Туган пригубил вино и мысленно расставил всех четверых по доске. Одно роднило их вернее всякого братства: всё на них было рабочее, ношеное и чинёное не по разу, без единой лишней бляшки — так справляются не по вкусу, а по кошельку. По всему видно было, что деньги нужны каждому, и нужны отчаянно. Фигуры были дешёвые. Зато, вероятно, с амбицией — амбицию же, если вовремя её оседлать, можно гнать дальше, чем самого дорогого коня.

Кожа у него была цвета остывшего вина, тёмно-фиолетовая, и от неё тянуло теплом — ровным, домашним теплом нагретого солнцем камня, какого у живого человека не бывает. Под кожей, у горла и на запястьях, угадывались вены — сейчас тёмные, едва различимые, из тех, что начинают тлеть угольком и просвечивать, стоит хозяину забыться, будто кровь под кожей у него не остывала до конца; оттого, надо думать, он и держал горло и запястья закрытыми. Глаза прятались под чёрной повязкой, будто он не желал видеть этот мир — или, вернее, не желал, чтобы мир видел, куда именно он смотрит. Из спутанных волос торчали короткие рога — не

гладкие бесовские рожки из сказок, а обломки, чёрные и матовые, как обгорелая кость. Хвоста, вопреки тому, что о его породе болтают в тех же сказках, у него не было — но проверять никто не совался. Вдоль бедра лежали два коротких клинка, вычищенных с той нежностью, какую испытывают лишь к вещам. Здешнее вино он пил медленно и не морщась.

Позже, при первом же знакомстве, он заговорит о себе в третьем лице — как о некоем Ил-люхе. Имя это он взял себе сам, в честь того, кто отдал всё и получил за это одни цепи, — во всяком случае, так он прочитал в одной книге; а как звали его прежде, до всего, он не помнил — и, кажется, не слишком старался вспомнить. А к исходу ночи, за глаза, его будут звать и вовсе просто «рогатым ублюдком». К эпитетам туганы привыкают раньше, чем к хорошему вину. Хорошего вина им, как правило, и не наливают.

Хозяйка вымела драчунов вон — почти всех; прочий люд, что во время свалки благо-разумно вжался в стены и лавки, остался допивать недопитое, будто ничего и не случилось. Тугана в углу она, кажется, и не заметила — вернее, предпочла не заметить: туган в таверне — как крыса в амбаре, все знают, что он тут, и никто не хочет его трогать. Этих же четверых гнать было не за что. Блондин, прошептав над разгромом короткую молитву — и осёкшись, ибо выбитых окон она не чинила, — уже поднимал столы и извинялся за каждый, будто у мебели есть чувства. Полурослик выложил на стойку монеты — за свой сметённый ужин, ни медяком больше: уговор есть уговор, с обеих сторон. Северянина и эльфийку хозяйка, поразмыслив, записала приложением к этим двоим. Так ей было спокойнее.

Мальчишка-половой, спасённый из-под сапог, приволок четыре кружки — сам, без при-каза; и по тому, как воровато он покосился на хозяйку, было ясно, что платить за это пиво ему самому не придётся. Пёс, ради которого вставала эльфийка, прохромал через зал и улёгся ей на сапоги — тяжело и насовсем, как ложатся только старые псы и старые долги. Эльфийка стряхнула с рукава кровь — не свою — и села. Так, среди перевёрнутых лавок, за единствен-ным уцелевшим столом, и состоялось знакомство: четверо, что минуту назад молотили чужую драку с усердием, будто она была их собственная, — уже не незнакомцы, но ещё и не компания.

— Недурно бьёшь по коленям, — сказал здоровяк, глядя на полурослика поверх кружки. Для него это было почти комплиментом.

— А ты недурно ломаешь двери головой, — не остался в долгу тот. — Природный дар или практика?

— Практика, — сказал северянин, подумав, и счёл тему исчерпанной.

— Корин. — Полурослик поднял кружку, а свободной рукой выложил на стол клещи — такие носят зубодёры и слесари, а вовсе не головорезы. — По прозвищу Клещи. За ремесло, не за жестокость. Ну, почти. Кому в этой суматохе расшатали зуб — обращайтесь, пока по-соседски.

Северянин потрогал языком собственную челюсть. Что-то там отозвалось.

— Насколько по-соседски?

— Для собутыльников — за следующую кружку.

— Терпит, — решил здоровяк и на всякий случай отодвинулся вместе с табуретом.

В трёх придорожных корчмах Корина и впрямь знали как лучшего зубодёра по эту сто-рону Зиндагара: где ещё в двух днях пути от города найдёшь лекаря, если в дороге разболелся зуб? Замки он вскрывал из чистого удовольствия, как иные решают головоломки; что за это его удовольствие изредка платила карангарская гильдия воров — о том в приличных корчмах не спрашивали. Семью его когда-то сожгли вместе с хутором — гоблины, если верить следам, а читать следы Корин так и не выучился, и это была единственная наука, о которой он жалел. За этот вечер он, к слову, трижды пересел, каждый раз оказываясь спиной к стене. Привычка. Или не только она.

— Паэлиас, — сказал светловолосый воин в полулатах и привстал, будто представлялся капитулу. — Паладин Ордена Священного Света, заступник обездоленных, защитник вдов, сирот и неповинно осуждённых, гроза нежити и нечисти, спаситель дев и карающая длань...

— А покороче заступники обездоленных не представляются? — поинтересовался Корин, не дожидаясь, пока карающая длань доберётся до следующего звания — пафосного и явно выдуманного. Хотя нет: выдумывать Паэлиас не умел вовсе. В каждый свой титул он верил сам — искренне и до последнего.

— ...впрочем, довольно и Паэлиаса, — согласился паладин и сел. Согласился он подозрительно легко, почти с облегчением: полный титул он и сам выговаривал со второй попытки — и в глубине души подозревал, что до половины этих званий ещё не дорос.

Лицо у него было настолько честное, что становилось неловко, — лицо человека, ещё не научившегося врать с удовольствием. Орден Священного Света подобрал его четырнадцатилетним сиротой: накормил, дал имя вместо фамилии, которой у него отродясь не водилось, и научил верить, что мир можно исправить дисциплиной и светом. Об этом ордене, к слову, на всём Карангарском берегу не слыхал ни один человек — но Паэлиас полагал это признаком святости, а не её отсутствия. Поверил он истово — как верят те, кому больше нечем платить за место за столом. На груди у него тускнел под дорожной пылью знак ордена — солнце с кривыми лучами, торчащими кто куда, намалёванное будто детской рукой: ни один герольд не признал бы в нём герба, а иной — и солнца. Паэлиас верил в свет. Свет пока держал паузу.

— А тебя как величать? — обратился он к северянину.

Северянин заглянул в кружку и обнаружил её пустой. Вопрос остался без ответа: у пустой кружки было преимущество.

— Эй-ты, — подсказал Корин. — Его весь вечер так звали. Отзывался.

— Эй-ты, — уважительно повторил Паэлиас. Привставать на этот раз не стал — учился он быстро. — А вас?

Эльфийка посмотрела на него. Долго. Пёс на её сапогах поднял голову и посмотрел тоже, и в две пары глаз молчание вышло вдвое выразительнее. Паэлиас счёл его скромностью, Корин — здравым смыслом: имена оставляют тем, с кем собираются знакомиться надолго. Своё он, впрочем, назвал не таясь: имя зубодёра — вывеска, ей и положено висеть на виду.

— Может, тоже «эй-ты»? — предложил здоровяк.

— Занято, — сказал Корин.

В зале её уже записали в друидки — то ли потому, что из всех она единственная вступилась не за человека, а за пса, то ли попросту по немытым волосам: в Триволе ремёсла назначают по внешности и ошибаются не чаще, чем угадывают.

— А что привело вас в Триволь? — не унимался Паэлиас. Паладин искренне полагал застольную беседу разновидностью доброго дела и вёл её с усердием, с каким иные копают колодцы.

— Жажда, — сказал северянин.

— Дела, — сказал Корин.

Эльфийка не сказала ничего, и её ответ был самым честным из трёх. Больше вопросов не задавали: в заведениях вроде «Сонного гнома» вопрос «что вас привело» считается интимным, а правдивый ответ на него — угрозой.

На том застольная дипломатия себя исчерпала. Четверо пили и молчали — тем особым неловким молчанием людей, которых свела не дружба, а чужие локти. И в этой тишине стало наконец заметно то, что тонуло в грохоте драки.

— Не оборачивайся, — негромко сказал Корин, глядя поверх кружки. — Угол у окна. Рогатый, с повязкой. Не дрался, не ушёл, весь вечер тянет одну и ту же чашу вина — в заведении, где вино берут только на спор. И что-то пишет. Люди, которые в трактире не пьют, мне не нравятся. Люди, которые в трактире пишут, — не нравятся ещё больше.

Паэлиас, разумеется, обернулся — сразу, всем корпусом, со скрипом лавки. Скрытности его Орден не учил, полагая её смежной с ложью.

Он и поднялся первым. Костяшки на правой руке ещё саднили от чужой скулы, но паладин уже расправил плечи и придал лицу то честное, услужливое выражение, с каким Орден учит подходить к страждущим. Двигала им привычка, ввевшаяся глубже устава: он слишком хорошо помнил, каково это — сидеть одному в углу и ждать, что подойдёт хоть кто-нибудь.

— погоди, — придержал его за локоть Корин. — Тот, рогатый, с повязкой на глазах? Ты серьёзно пойдёшь спрашивать, не нужна ли ему помощь?

— Ему, кажется, одиноко, — сказал Паэлиас.

— Ему, кажется, комфортно, — возразил Корин. — А это разные вещи, Па... — как там бишь тебя? — Паэлиас. Одиноким ждёт, чтобы к нему кто-нибудь подошёл. Этот — просто ждёт. И когда к такому подходишь сам, ты избавляешь его от половины работы.

Паладин на мгновение замер: совет был дельным, а дельные советы всегда заставляли его врасплох. Потом всё равно пошёл. Полурослик пожал плечами и смахнул со стола клеши за пояс: если дурака хотят покусать, разумнее держаться рядом — тогда после будет что делить.

— Вам нужна помощь? — спросил Паэлиас, остановившись у стола настолько близко, насколько позволяла вежливость, и настолько далеко, насколько подсказывал инстинкт.

Ил-люха не торопился с ответом. Так не торопится мясник над тушей — прикидывая, где сустав, где жила, с чего начать.

— Ил-люхе нужны люди, которые держат меч не только для красоты, — проговорил он наконец. Голос был ровный, чуть насмешливый. — Вы, пожалуй, подойдёте. Хотя мечом, подозреваю, вы машете реже, чем извиняетесь.

— Реже, чем следовало бы, — признал Паэлиас, и это, кажется, развеселило тугана сильнее, чем любая бравада.

Следом подтянулся Корин — раз паладин всё равно не послушал совета. По давней привычке не позволять договариваться без себя: где пахнет сделкой, там надо присутствовать, иначе условия придумают за твоей спиной.

— Платишь — слушаем, — сказал он. — Не платишь — пьём дальше. Пить мы, собственно, и задаром умеем, а слушать — нет.

— Мне бы выпить, — поддержал здоровяк, рухнув на соседний табурет так, что тот крикнул.

Эльфийка следом не пошла — осталась у стола, скрестив руки, и издали одарила всю компанию взглядом, каким разглядывают несвежую рыбу на торгу.

Ил-люха не стал отвечать никому из них. Он вынул из рукава клочок бумаги, положил на стол и придавил монетой — чтобы бумагу не унесло сквозняком, а любопытство не залежалось. После чего вернулся к вину с видом человека, который своё уже сказал.

Корин вытянул листок из-под монеты. Монету, подумав, прибрал тоже — не пропадать же добру. Отошёл с добычей к своему столу, подальше от рогатых ушей. Развернул, хмыкнул.

— Шифр, — сообщил он. — Детский. Такой оставляют в дневниках и любовных записках.

— И что там? — спросил Паэлиас.

— «Комната наверху. Когда погасят очаг». — Корин щелчком отправил бумажку в тлеющие угли и проследил, чтобы занялась. — Либо рогатый держит нас за идиотов, либо проверяет, не идиоты ли мы. В обоих случаях мне уже интересно.

— А наверху нальют? — уточнил северянин.

Ему не ответили, и он счёл это за «да».

Очаг внизу угас к полуночи. Комната наверху пахла свечным чадом и чем-то сладковатым — не то ладаном, не то ложью; в исполнении Ил-люхи одно от другого отличалось слабо.

На столе лежала карта, и на карте был прочерчен маршрут, но туган свернул её прежде, чем кто-либо успел разобрать на ней хоть что-нибудь.

— Мне нужны помощники, — сказал он.

Голос сделался мягким, почти жалобным — голос проповедника, который уже знает, что проповедь кончится сбором пожертвований.

— Моего брата держат в подвале бургомистра. На рассвете его увезут на казнь. Спуститься за ним — забота Ил-люхи; ваша проще и честнее — шуметь. Громко, бестолково, у всех на виду, так, чтобы каждый, кто нынче при алебарде, начисто забыл, что во дворе есть иные углы, кроме того, где надрывается вы. У каждого свой дар.

Паэлиас кивнул первым. Паладины всегда кивают первыми; это, надо полагать, записано у них где-то между строк о добре и свете — мелким шрифтом, который никто не читает.

— Ты же не веришь ему на слово? — тихо спросил Корин, дёрнув паладина за рукав.

— Я верю, что у него в подвале страдает живой человек, — так же тихо ответил Паэлиас. — Остальное — детали.

— Детали, — повторил Корин с той интонацией, с какой произносят слово «яд». — От них, Паэлиас, чаще всего и умирают. Не от меча и не от петли — от какой-нибудь мелочи, которую поленились проверить. Тихо, глупо и куда чаще, чем от всего прочего.

— Сколько? — спросил здоровяк. Слов он тратил немного и все — по делу.

Ил-люха вздохнул и бросил на стол кожаный мешочек. Тот осел с сытым, круглым звуком.

— Достаточно, чтобы к утру оказаться подальше и начать заново, — сказал он. — А начинать заново вам, судя по вечеру, всё равно придётся.

Корин коротко хохотнул. Ему нравился юмор, после которого хочется на всякий случай поискать взглядом дверь.

— Раз уж за братом идёшь ты сам, — эльфийка чуть склонила голову, — на что тебе мы? Один ловкий туган прошёл бы мимо пьяной стражи тише, чем четверо с шумом.

Повисла короткая оторопь. За весь вечер эльфийка не проронила ни слова: северянин уже держал её за немую, Корин из вежливости не поправлял. Больше того — никто толком не помнил, как она вообще оказалась наверху. Внизу она к тугану так и не подошла — осталась у стола, всем видом показывая, что чужие сделки её не касаются; наверх её не звали, она не набивалась — и всё же вот она, у стены, будто была тут всегда. Голос оказался под стать: тихий, вкрадчивый, из тех, к которым тянешься расслышать, а расслышав — жалеешь.

Улыбка Ил-люхи стала шире — если вообще было куда шире.

— Прошёл бы, — не стал спорить он. — А потом попался бы — на единственном трезвом взгляде, которого не заметил. Ил-люха не любит зависеть от того, кому нынче ночью вздумалось не пить. Шум надёжнее удачи: он забирает все взгляды разом.

— А имя? — вмешался Паэлиас, и в голосе его прорезалась неуверенность честного человека, натякающегося на первую нестыковку. — Как зовут вашего брата? За что осуждён?

Ил-люха замялся — искусно, с паузой ровно той длины, чтобы она сошла за скорбь.

— Чем меньше из вас знает имя, тем меньше сыщется охотников его продать, — проговорил он мягко. — Вам платят не за родословную. За имя, за вину, за подвал отвечает Ил-люха; с вас — только шум.

— Сколько там стражи? — спросил северянин, прикидывая, хватит ли на всех.

— Достаточно. Поймёте сами, едва подойдёте к воротам, — пожал плечами туган. — Смотрите, считайте, запоминайте — вам же спокойнее. Важно только одно: чтобы к нужному часу все они глазели на вас, а не себе за спину.

— А если нас повяжут? — подала голос эльфийка.

— Прикиньтесь тем, за кого вас и так держат, — загулявшими дураками, что вломились не в ту дверь. Пьяных дураков в этом городе к утру выставляют вон: держать их дороже, чем выгнать. Отоспитесь под замком — и выйдете к завтраку целыми. Злыми, зато свободными.

— А если откажемся? — эльфийка спрашивала уже без остановки, словно навёрстывала всё, что промолчала за вечер.

— Тогда Ил-люха найдёт других «героев». — Он развёл руками, будто извинялся за устройство мира. — Тут этого добра — как чаек над рыбой. Один улетел, три сели.

В комнате повисла тишина. За стеной перекатывался пьяный хохот. Где-то у ратуши пила на посту стража, ещё не подозревая, что ей отведена роль декорации в чужом спектакле.

Правды он им, разумеется, не сказал. А правда была куда проще и грязнее сказки о брате. Королевский гонец из Старых Земель вёз дипломатическую депешу — тайно, маршрутом, которого не вывешивали на досках у ратуши: такие вещи доверяют не бумаге, а памяти немногих. Ил-люха всё равно его знал. Откуда — оставалось его секретом, из тех, что туган не доверял даже собственным монологам. Гонец ночевал в доме бургомистра, в комнате с видом на море и на чужие замыслы; Ил-люхе нужны были шумные болваны внизу — и тишина наверху, где предательство ещё не успело лечь на бумагу. Ил-люха, любил повторять он, не ворует. Ил-люха перераспределяет чужие ошибки.

Корин взвесил мешочек на ладони. Вес устроил.

— Мы в деле, — сказал Корин и потянулся было сунуть мешочек за пазуху, но туган накрыл его руку своей. Золото вернулось на стол; взамен Ил-люха отсчитал полурослику пару монет — задаток, чтоб уговор считался заключённым. Остальное, дал он понять, дожидается конца работы: Ил-люха платит вперёд только за похороны. Корин ссыпал задаток в карман и спорить не стал — золото вперёд он и сам бы не дал. — Смущает меня одно, рогатый. Работа простая, деньги честные, наниматель обходительный. За такую гладкость обыкновенно доплачивают, и счёт приходит позже, чем хотелось бы.

— Верно рассуждаешь, — без тени обиды отозвался Ил-люха. — Вероятно и доживёшь до счёта. — И рассмеялся — тихо, своим мыслям.

Вышли за полночь, по двое, чтобы не будить любопытства у тех немногих, кто ещё сидел в зале и был на него способен. Ночь в Триволе пахла солью и чужими планами. От порта полз туман — по колено, не выше, будто и ему было интересно, но не настолько. Луна висела над черепицей, как оловянное блюдо с подозрительным налётом, и света давала ровно столько, чтобы честный человек споткнулся, а нечестный — прошёл.

— Я потребую свидания с узником, — вполголоса репетировал Паэлиас на ходу. — По закону всякому осуждённому дозволено...

— Мы идём шуметь, а не судиться, — сказал Корин. Подумал и добавил: — Хотя знаешь — стучи. Громко и в парадную дверь. Честный стук — лучший шум из возможных: на него открывают сами.

— А мне что делать? — спросил здоровяк.

— Быть собой, — сказал Корин.

Северянин кивнул с глубоким удовлетворением человека, получившего должность по призванию. Звали его, как выяснилось по дороге, Хролло: Паэлиас попробовал спросить во второй раз за вечер, и северянин, поразмыслив, рассудил, что перед общим делом можно и разориться на имя.

У складов Корин оглянулся — в последний раз и будто бы невзначай. Второй трезвый человек того вечера — не рогатый, другой: серый, неприметный, весь вечер просидевший у дверей над одной и той же кружкой, слишком трезвый для такого заведения, — следом не шёл. Это могло значить, что слежка ему померещилась. Или что следившему уже хватило увиденного. Второе нравилось Корину куда меньше, и он ускорил шаг.

— Шумите от души, — напутствовал Ил-люха. Он довёл их дворами почти до самой ратуши — молча, приотстав на шаг, так что не разобрать было, ведёт он их или крадётся следом, — и теперь сворачивал в проулок, к морю. — Представьте, что вам за это платят. Вам, к слову, за это платят.

И его не стало — без звука, между двумя ударами волн о сваи.

У ратуши чадили факелы. Дом бургомистра стоял тут же, при ней, — одно подворье за общей стеной: жилое крыло с гостевыми покоем, караулка, конюшня и тот самый «подвал», которым бургомистр страшил неплательщиков податей, ибо слово это звучало страшнее, чем выглядело. Ворота на ночь запирались. Стража пила на посту — негласная привилегия мирного времени.

Стучал Паэлиас. Честно, кулаком, в дубовую парадную дверь — и голосом, поставленным на проповедях, потребовал именем закона немедленного свидания с узником.

За дверь помолчали. Потом открылось окошко, и заспанная борода в нём осведомилась, с каким таким узником: в подвале, кроме сельди и двух бочонков под сургучом, сроду никого не держали. Паэлиас объявил, что ему доподлинно известно о невинно осуждённом, коего везут на казнь и скрывают от закона. Борода ответила в том смысле, что казней в Триволе не случалось с прошлой ярмарки, что закон спит и честным людям в такой час положено делать то же самое. Паэлиас набрал воздуху и перешёл на регистр, каким читают проповедь против штормового ветра.

— Я требую свидания с братом одного... — он запнулся, обнаружив, что имени брата так и не узнал, — ...одного достойного тугана!

— Великолепно, — пробормотал Корин. — Теперь вся стража знает про тугана. Ори громче — вдруг в порту не расслышали.

За воротами тем временем шло совещание. В жилом крыле спал гость, о котором сержанту было велено помнить и которого было велено не беспокоить; будить бургомистра не хотелось, гостя — тем более, а перекричать паладина не взялся бы и прибой. Оставалось средство, освящённое стражницей традицией: впустить крикунов во двор, скрутить и уложить остывать в темницу до утра — пусть утром разбирается тот, кому за это платят. Что именно в нём было не так, сержант не смог объяснить ни начальству, ни себе — ни тогда, ни потом.

Ворота приоткрылись — единственная ошибка тривольской стражи за ту ночь, зато исчерпывающая, — и внутрь вошли все четверо, каждый со своим представлением о том, что такое «отвлечь». Корин вошёл последним, мимоходом оценив стену, ворота и количество алебард — и найдя всё это поправимым.

Двор встретил их костром, коновязью и дюжиной стражников в том градусе праздничного несения службы, при котором алебарда служит главным образом опорой. Вязать гостей, вопреки плану, не спешили: скручивать кричащего паладина в полтора собственных веса — работа, которую всякому хочется отложить, а стражу в Триволе развлекают редко. Паэлиас орал про справедливость, вкладывая в голос всё, чем привык платить миру за место в нём: паладинам отчего-то кажется, что небеса слышат по громкости. Свет не снисходил, но стражники поворачивались на голос, как гуси на палку.

Корин один слушал проповедь вполуха. Его занимала арифметика попроще: рогатый говорил — в подвале брат; борода говорила — в подвале сельдь. Кто-то из двоих врал, а Корин не любил узнавать такие вещи последним. И была вторая нескладница, крупнее первой: рогатый божился, что спустится за братом сам, — а самого рогатого во дворе не было и близко. Свернул к морю и растворился, будто брата держали там, между свай, а не за этой вот дверью. Тот, кто и впрямь пришёл вызволить родную кровь, вертится у нужного замка, а не уходит от него в другой конец города. Сельдью тянуло из-под караулки — стало быть, спуск был там. Пока двор смотрел на паладина — а на паладина смотрел весь двор, включая коновязь, — полурослик отступил в тень и занялся замком. Замок оказался добротным, честным, дворфийской работы

— такой запор заслуживал уважения и неспешного разбора, а не взлома впопыхах, но проповеди не длятся вечно. Корин управился за девять секунд — личный антирекорд, которым, будь у него время, он бы всерьёз расстроился.

Заглянуть внутрь он не успел.

Наверху, в жилом крыле, Ил-люха вскрыл дверь так, будто занимался этим всю жизнь. Что, к слову, недалеко от истины. Коридор второго этажа стоял пустой: всё, что в доме умело держать алебарду, стянулось во двор — слушать про справедливость. Гонец проснулся, увидел над собой фиолетовое лицо без глаз и успел лишь приоткрыть рот. Нож вошёл под ребро быстрее, чем крик успел добраться до горла. Свиток скользнул в рукав. Печать — в карман. Кровь — на половицы, тёмными кляксами, как чернила, пролитые невпопад. Туган вытер клинок о штору. Штора была красной. Практично.

«Ил-люха работает чисто», — мысленно похвалил себя туган и тут же поймал себя на том, что польстил самому себе в третьем лице, оставшись без единого свидетеля. Это отчего-то смутило его сильнее, чем сам труп; по виску скользнул и погас тусклый уголёк — кровь отзывалась на чувство раньше хозяина, и этой её честности он не прощал. Смушение, впрочем, надолго не задержалось.

В доме бургомистра квартировал той ночью не только гонец. Командир городской стражи Гаррен Морн двадцать лет прослужил Триволю верой, правдой и начищенным нагрудником. Во всём гарнизоне он один не пил на посту, знал наизусть три баллады о героях и всю жизнь ждал одного: врага, достойного его стали. Пьяные рыбаки и карманники с рыбных рядов на эту роль не годились. Морн старел, полировал доспех и верил, что его час ещё придёт.

Час пришёл. Морн не спал — единственный во всём доме, кому это полагалось по убеждениям, — и стук внизу принял сперва за пьяный дебош, дело на праздниках обычное. Но когда командир решил спуститься и навести порядок, дверь его комнаты не поддавалась: подпёрта снаружи чем-то тяжёлым — кто-то позаботился о нём заранее, тихо и без уважения. И тогда Гаррен Морн понял то, что понял бы на его месте всякий, знающий наизусть три баллады: шум внизу — не дебош, а прикрытие, и враг, которого он ждал двадцать лет, наконец явился. Оставалось окно, и Морн не колебался ни мгновения — выпрыгнул со второго этажа во двор, в доспехах, с мечом, с той несокрушимой уверенностью, какую дают человеку баллады. Приземлился он тяжело, но красиво, как и подобает герою дешёвой песни, и обвёл двор взглядом, ищущим того самого врага.

Взгляд нашёл всё сразу: чужаков посреди ночного двора, растерянную собственную стражу — и дверь караулки, отворённую без его ведома, с полуросликом в её тени. Слово «диверсия» Морн знал не из баллад, а из редких скучных отчётов. Дальше он не размышлял — двадцать лет ожидания не оставляют места размышлениям. Меч вышел из ножен, и командир стражи Триволя бросился на врага, о котором столько лет просил небеса.

Надо отдать Ил-люхе должное: драки в его плане не значилось. План был скромненький, как всё рабочее: болваны шумят, стража слушает, нож работает, все расходятся живыми — кроме одного. Драку добавил Триволя — от себя и, как всё самое плохое в этом городе, бесплатно.

Дальше двор зажил по законам таверны. Хролл встретил летящий на него доспех с радостью человека, которому вернули любимую работу; стражники, увидев, что командир рубится с чужаками, кинулись на подмогу — заспанные, хмельные, злые, испуганные, а испуганный стражник опаснее храброго, потому что бьёт не думая. Через минуту во дворе уже гремело железо. Паэлиас, прикрываясь щитом, продолжал призывать к справедливости — теперь уже с полным на то основанием. Бородатый стражник цапнул Корина за шиворот — и получил палец в глаз. «Дипломатия», — назвал бы это Корин, если бы спросили. Никто не спросил. Эльфийка шептала из-за коновязи нечто на языке, похожем на шелест листвы под ветром, — заклинание или брань; разница здесь чисто учёная. А Хролл ломал всё, что поддавалось: скамью, чью-то руку — и дверь караулки, ту самую, которую Корин только что вскрыл с ювелирной бережно-

стью. Вынес вместе с косяком, для верности. Девять секунд тонкой работы легли в щепки за полторы. Корин проводил дверь взглядом и комментировать не стал.

Морна тем временем пытались образумить.

— Командир, это недоразумение, а недоразумения мечом не лечат! — крикнул Корин, благоразумно держась за чужими спинами. — Пока никто не убит, ещё можно разойтись по домам.

— Остановитесь! — рявкнул Паэлиас так, что несколько голов и впрямь остановились: двое стражников замерли с занесёнными кулаками, третий у коновязи виновато придержал табурет. На один невероятный удар сердца двор почти послушался. — Прошу вас, довольно насилия... — прибавил паладин мягче, просительно, — и наваждение спало: занесённые кулаки опустились уже на чужие скулы, табурет возобновил полёт. Приказу двор, пожалуй, и подчинился бы. А вот просьбе — нет.

Морн не остановился. Он был не про уговоры — он был про честный поединок, и почти уже нашёл, с кем: Хролл как раз разминал кулаки.

Ил-люха к тому времени уже спустился во двор — по крыше пристройки, со свитком у сердца, бесшумный, как дурная новость. Путь к морю лежал задворками, мимо конюшни, и туган всерьёз собирался им воспользоваться. Дверь командира он подпёр ещё наверху, мимоходом: он знал, что единственный трезвый клинок гарнизона ночует в этом доме, и ставил на то, что старик проспит чужую возню под окнами. Ставка не сыграла — посреди свалки блестел тот самый начищенный доспех. Ил-люха без спешки прикинул, что будет, когда единственный, кто способен задать выжившим правильные вопросы, начнёт их задавать. Выходило скверно.

Ил-люха убедил Морна иначе. Он выступил из темноты у конюшни — там, где мгновение назад никого не было и никто его не искал, — и двор, ещё поглощённый командиром, не успел даже удивиться.

Он поднял руку — и в раскрытой ладони набух огонь. Не факельный, не очажный — злой, гудящий, живой. Два снаряда сорвались с пальцев почти без замаха: короткий свист, вспышка, от которой ночь на миг стала днём, и глухой, влажный хлопок. Пахнуло палёным волосом и кипящим металлом. Слово «закон», которое Морн уже набрал в грудь, так и осталось несказанным. Доспех потёк по плечам расплавленным серебром; командир качнулся, беззвучно опустился на колени — и осыпался на камни двора горсткой пепла и оплывшего железа. Двор принял его молча. Враг, достойный его стали, не удостоил его даже поединка.

Ил-люха опустил руку не сразу. Он метил отвлечь командира — обжечь, ослепить, на худой конец напугать так, чтобы старику стало не до чужаков; так его огонь работал всегда, и свой огонь туган знал, как зубодёр знает свои щипцы. Но человека в полном доспехе не обращают в горсть золы двумя снарядами без замаха. Это было слишком — не по его меркам, будто на его зов в этот раз откликнулись громче, чем он звал, и куда охотнее, чем следовало. Ладонь ещё держала чужое тепло, и тепло это было неприятно живым. Туган сказал себе, что просто вошёл в силу; убеждать себя он умел лучше всех, кого знал. И всё же на один удар сердца ему стало не по себе в собственной шкуре.

Двор оцепенел — весь, разом, обе стороны: только что не стало командира, а вместе с ним и понятной картины мира. Мечи и алебарды опустились сами собой, как опускаются флаги. В наступившей тишине было слышно, как шипят, остывая на камнях, капли металла.

Оцепенение продлилось меньше минуты.

Эльфийка поняла это раньше всех. Она глянула поверх голов — туда, где из проулков уже стекались факелы и свистки: гарнизон Триволя был ленив, но не глух, а горящий командир виден издалека. Делиться выводами она не стала — только попятилась, вскинув раскрытые ладони, как отрешиваются от чужой беды, которая вот-вот станет твоей:

— О нет. Нет-нет-нет. Вот с этим — без меня, точно без меня. Счастливо оставаться, герои.

И перестала быть — сначала частью двора, потом частью ночи: скользнула между складами, то ли ушла, то ли сделалась одной из теней.

Ил-люха уже ускользнул — к задворкам, мимо конюшни, тем самым путём, с которого его отвлекло зрелище, — и на ходу, в общей суматохе, прошёл вплотную к Корину. Касание было легче сквозняка; когда полурослик обернулся, тугана уже не было. Зато за пазухой, там, где ещё вечером лежало только своё, появился чужой вес. Мешочек. И бумага.

Драки он нанятым не заказывал — но и ставок на их выживание не делал: Ил-люха вообще не ставил на чужую жизнь, дурная примета. Уцелели все, и это меняло планы к лучшему: неудачники, если распорядиться ими с умом, бывают на удивление полезны. Особенно те, кому будет что предъявить страже, — такие держатся за нанимателя крепче, чем за собственную невиновность.

А потом стража опомнилась. И оказалось, что её много.

Подкрепление вливалось в распахнутые ворота с площади и из проулков, пока двор не стал тесен. Кольцо сомкнулось быстрее, чем Хролл успел размять кулаки по-настоящему.

— Двадцать на троих, — сказал Корин, оценив факелы. — Это уже не драка, здоровяк. Это статистика.

Хролл с сожалением опустил руки. Паэлиас поднял свои сам — раскрытыми ладонями вперёд, честно и прямо: человек, который час назад требовал справедливости именем закона, не видел смысла бегать от закона теперь. В этом была логика. В этом была даже красота. Пользы в этом не было никакой.

Вязали их зло и неаккуратно — у страха руки грубые. Логика обвинения сложилась сама, прямо посреди двора, и была проста, как молоток: туган испепелил командира стражи и растворился; эти трое явились среди ночи, орали про тугана и вскрыли караулку; стало быть — сообщники.

— Мы спасали его брата! — попробовал Паэлиас, пока ему заламывали локти.

— Расскажешь бургомистру, — посоветовали ему уже без злобы. — Он любит сказки. Особенно с утра.

Корин не оправдывался вовсе. Он стоял смирно, дышал ровно и думал о чужом весе за пазухой — который торопливый обыск, к счастью, не нашёл: стража обшаривает карманы, а у полурослика карманов больше, чем у стражи терпения. Их не бросили, понимал он. Их наняли снова — вслепую, без спроса и уже в верёвках. И неизвестно, что из этого хуже.

Оставшись без зрителей, Ил-люха позволил себе то, чего не позволял при свидетелях: длинную, полную грозного пафоса речь — про то, что мир погряз по колено, что улицы — продолжение сточных канав, а канавы полны крови, и однажды всё это захлебнётся в собственной грязи. Аудитория состояла из него самого и одной сонной чайки на перилах моста. Чайка не впечатлилась. Ил-люхе было довольно и её: одиночество легче переносится, если хоть иногда репетировать перед кем-нибудь — пусть даже перед птицей — свою будущую легенду.

Золото в подброшенном мешочке было выкроено из той самой суммы, что предназначалась на подкуп городской стражи. Ил-люха считал это удачной инвестицией: подкупать стражу в итоге не пришлось — хватило испепелить её командира.

В Триволе меж тем поднимался шум. Гонец мёртв, свиток пропал, командир стражи развевая по ветру. Бургомистр, среди ночи поднятый с перины на крики под собственными окнами, клялся отыскать виновных — и виновные, по счастливому стечению обстоятельств, были уже связаны и никуда не девались.

А Ил-люха шёл по ночному тракту и улыбался. Свиток у сердца ещё хранил чужое тепло, будто в нём не остыл пульс гонца. Правая ладонь хранила другое тепло — своё и не совсем своё разом, — и его туган старался не замечать, как не замечают стук в стене, пока он не становится невыносимо громким. В голове складывался план. О мертвеце туган не думал вовсе: с мёртвых нечего взять. О троих связанных — думал, но недолго: предъявить им нечего, кроме

шума, а за шум на этих берегах не вешают. Отсилятся. Разозлятся. Придут. Он тихо, фальшиво насвистывал, и мелодия таяла в темноте раньше, чем её успевали расслышать. А расслышать стоило бы: насвистывающий туган пугает сильнее кричащего.

Глава 2. Всего лишь шум

Ночь они провели в холодной — каменном чулане при тривольской ратуше, где обычно отсыпались до утра пьяные и остывали буйные. Втроём, на одной охапке соломы. Никто не спал. За дверью топталась стража — больше, чем нужно, чтобы стеречь троих связанных, и меньше, чем хотелось бы самой страже. А за стеной до рассвета скребли и причитали: собирали в ведро то, что осталось от Гаррена Морна, которого ещё вчера называли командиром городской стражи, а теперь — уже потише, оглядываясь, — «несчастливым случаем».

Утром их погрузили в тюремную повозку. За ночь дело переменялось, и не в мелочи: наверху, в гостевой комнате, нашли зарезанного королевского гонца и недосчитались дипломатической депеши, — и пьяный погром обернулся к рассвету делом государственным, из тех, за которые с бургомистра спрашивают люди, до которых из рыбацкого городка и голос не доходит. Судью и виселицу Триволь сыскал бы и сам; чего бургомистр не желал сыскать, так это ответственности. А потому он поступил, как всякий мелкий чиновник, которому на стол легла чужая большая беда: сгрёб её вместе с виновными и спровадил по тракту в Зиндагар — город с магистратом, острогом и достаточным весом, чтобы держать ответ за мёртвого гонца. За распахнутыми воротами подворья, мимо которых их провезли, ещё валялись обломки двери караулки; стражники сновали туда-сюда, натываясь друг на друга, — так суетятся муравьи, когда сапог уже прошёл сквозь их дом, но они об этом ещё не догадались.

Кандалы оказались ледяными. Дорога в Зиндагар — длинной. Тюремная повозка пахла мочой, невымытым телом и той особой безнадёжностью, что копится в дереве за годы перевозки чужих несчастий. Корин, скорее по привычке, чем по надежде, изучал устройство замка на своих кандалах. Паэлиас шептал молитвы. Хролл забился в угол и пересчитывал синяки вместо монет — единственное, чем в тот вечер разбогател.

— Мы требовали свидания с узником, — объяснял Паэлиас офицеру конвоя. В четвёртый раз. — По закону всякому осуждённому дозволено...

— Не было осуждённого, — ровно отвечал офицер. Лицо у него было усталое — не от бессонной ночи, а от самой жизни, которая слишком часто подсовывала ему подобные утра.

— Его брата везли на казнь!

— У нас месяц никого не казнили. Даже не пороли толком — праздник же.

— Но туган сказал...

— Вот, — офицер поднял палец, не оборачиваясь. — «Туган сказал». С этого места ваш рассказ мне нравится: в нём наконец появляется преступник. Жаль только, вы — не он.

Он же, этот усталый человек, между делом и рассказал им — не из сочувствия, а потому что молчать всю дорогу скучно, — за что их, собственно, везут. Пока во дворе паладин орал про справедливость, а потом гремело железо, наверху, в доме бургомистра, кто-то вскрыл дверь, зарезал спящего королевского гонца и унёс дипломатическую депешу. Тихо. Чисто. Профессионально.

Паэлиас замолчал до самого полудня.

Он думал о человеке в комнате наверху, который, должно быть, так и не проснулся до конца, и о доспехе, стёкшем с командира стражи горячим серебром. Орден учил: свет судит намерение, а не последствие. Паэлиас честно попытался вспомнить своё намерение тем вечером — и обнаружил, что оно было простым и почти детским: не остаться голодным и одиноким в чужом городе. Из этого намерения выросли два трупа. Арифметика не сходилась, сколько ни пересчитывай, а спросить, где ошибка, было не у кого: Орден остался в трёх днях пути, а Господь в детали не вникал.

— Мы ведь хотели кого-то спасти, — сказал он наконец, ни к кому в особенности.

— Мы заработали, — отозвался Корин с пола повозки. — Это разное, Паэлиас. Захочешь однажды писать про тот вечер хронику — вот с этого места и начинай. С правды. Она короче.

— Значит, так было надо, — проговорил Паэлиас, больше себе, чем Корину. — На всё есть замысел. А если я его не вижу — это моя слепота, не Его отсутствие.

— Замысел был, — сказал Корин. — Да только не Его. — И вспомнил рогатого: золото, записку детским шифром, драку, которую затеяли не они.

— Хороший вечер, — подытожил Хролл, разглядывая собственные кандалы так, будто оценивал урожай. — Мог быть скучнее.

Корин съязвил про хронику, чтобы уколоть, и тут же забыл. Паэлиас — нет. Насмешку он различал плохо: Орден его этому не учил, а жизнь пока не успела, — и в слове «хроника» услышал не издёвку, а поручение. Дурное, рассудил паладин, мир запоминает сам, охотно и даром; доброе приходится записывать. К вечеру у будущего труда были и назначение — свидетельствовать, что добро существует, что бы ни утверждала статистика, — и название: «Светоч». Благочестивый альманах. Был и блокнот: чистый, купленный ещё при Ордене на сэкономленные от обедов медяки, он ехал тут же, в мешке с изъятим имуществом, — в двух шагах и под замком, как и всё, чем Паэлиас в те дни владел.

Не было только первой строчки: всякий раз, как паладин начинал её со слов «мы хотели», где-то на середине из неё вырастали два трупа.

— Как думаете, — сказал он вдруг, — её тоже ищут?

Повозку тряхнуло. Кандалы отозвались нестройно.

— Кого? — спросил Корин, не открывая глаз.

— Эльфийку.

— Ищут четвёртого, — сказал Корин. — Не её. Четвёртый — строчка в бумаге. Строчку не ловят, а вычёркивают.

Паэлиас подумал над этим и утешения не нашёл.

— Она ушла первой, — сказал он. Прозвучало без упрёка: упрекать паладин не умел, у него и на это выходил вопрос, которого он стеснялся.

— Ушла.

— Куда?

— Туда, куда уходят вовремя.

Отвечая, Корин скорее отговорился. В тот вечер смотрел он внимательно — и не увидел ничего: только что эльфийка пятилась, вскинув ладони, а мгновением позже между складами её как будто никогда не бывало. Всю жизнь полурослик гордился тем, что в любой комнате первым находит дверь. В ту ночь дверь нашли быстрее его.

— Значит, бросила, — сказал Паэлиас, пробуя эти слова на вес. Слова оказались тяжелее, чем он рассчитывал.

— Бросают своих, — сказал Корин. — А мы ей кто? Трое чужих, с которыми она подралась и выпила. Она ничего не обещала.

— Она даже не назвалась, — сказал Паэлиас.

— Вот именно, — сказал Корин.

Паладин подождал продолжения. Продолжения не последовало: для Корина этим всё и было сказано. Имя — то же долговое обязательство, только без бумаги: кто не назвался, с того и не спросят. Эльфийка вышла из того вечера, не взяв ни медяка и не оставив ни слова, и унесла с собой единственное, что в ту ночь чего-то стоило. Себя.

— Трех уложила, — сказал вдруг Хролл, ни к кому не обращаясь. — И не запыхалась.

Помолчали. Каждый по своей причине.

Когда офицер задремал в седле, Корин осторожно, двумя пальцами, выудил из-за пазухи то, что подбросил ему в суматохе туган. Украдкой — но украдкой от конвоя: в повозке размером с гроб, где добрую половину занимал один Хролл, прячешься от кого угодно, только не от соседа по соломе. Мешочек он трогать не стал — звон в повозке был бы некстати, — но по весу, прикинув на ладони, вывел: до медяка честно. Это встревожило его сильнее любой недостачи: щедрость без обмана в его опыте всегда означала, что обман запрятан где-то глубже.

Бумажка была сложена вчетверо и исписана тем же детским шифром, что и первая.

«В Яшгаре. Буду ждать».

Корин перечитал дважды, скатал бумажку в шарик и отправил в щель между досками — дорога съела её без следа.

— Что там было? — тихо спросил Паэлиас.

— Счёт, — сказал Корин. — Наш. Оплачен вперёд.

Больше он ничего не объяснил, а Паэлиас не стал допытываться. Показанный козырь перестаёт быть козырем — это Корин усвоил раньше, чем научился вскрывать замки.

Зиндагар открылся к исходу следующего дня — стены, мост, ворота, в которых повозку даже не стали осматривать: что взять с тех, кого везут в клетке. Стены ставили по заморному чертежу — со рвом, барбаканом и всем, что полагается городу, которому грозит правильная осада. Правильной осады Зиндагар так и не дождался: те, кто приходил из-за холмов, концепции осады не разделяли, зато твёрдо держались мысли, что ночью сподручнее, чем днём. Стена от этого не простаивала — и оказалась единственным привозным, что на берегу прижилось: закон, монету и веру тут принимали с грехом пополам, а стену приняли в первый же год. Мох на камне был, впрочем, свежий и первый. Город держал тракт, печать и острог — тонкую корочку власти, какой хватает факториям: порты и дороги ещё слушались бумаги, а всё, что за холмами, бумага уже не интересовала.

В острог их повели не сразу. Сперва был кабинет — воск, бумага, запах чужой вины — и бургомистр Зиндагара, сухой человек с глазами счетовода. Перед ним лежал тривольский протокол, и читал он его так, как читают счёт, который всё равно придётся оплатить.

— Протокол я изучил, — сказал он, не предложив сесть. — Гонец, депеша, командир стражи. Работали профессионалы: тихо и без следов. А теперь расскажите, что в это время делали вы.

— Мы стучали в дверь, — честно сказал Паэлиас.

— В парадную дверь, — уточнил бургомистр, сверившись с листом.

— Именем закона, — подтвердил Паэлиас.

Корин прикрыл глаза. Так жмурятся люди, при которых родной брат сознаётся в том, о чём его даже не спрашивали.

— Я требовал свидания с узником, ибо брата этого достойного тугана...

— Достаточно. — Бургомистр отложил лист и некоторое время смотрел на них с выражением человека, который нашёл в счёте ошибку, но не в свою пользу. — Вам сказать, как я это вижу? Люди, уносящие депеши, не стучат в парадные двери. И не орут «именем закона» на весь квартал. Вы не убийцы. Вы — шум. Вас купили за мешок монет, как покупают петуха: чтобы горланил под нужным окном, пока добро выносят через другое.

— Мы хотели спасти человека! — Паэлиас даже задохнулся.

— Не сомневаюсь. Спасённого предъявите?

Предъявить было нечего. Паэлиас открыл рот, закрыл, посмотрел на Корина. Корин изучал потолок.

Бургомистр перевернул лист.

— И последнее. Здесь сказано: четверо. Во дворе видели четверых. Ко мне привели троих. — Он поднял глаза, и не было в них ни угрозы, ни азарта — одна тихая досада человека, у которого не сходится столбец. — Кто четвёртый?

— Эльфийка, — сказал Паэлиас.

— Имя.

— Она не назвалась.

Бургомистр смотрел на него долго.

— Вы пили с ней за одним столом. Дрались с ней в одной драке. Пошли с ней на одно дело. И не знаете имени.

— Не знаем, — подтвердил Паэлиас, и по голосу было слышно, что ему за это стыдно.

Хуже всего было то, что паладин не врал. Чистая правда звучала как самое дешёвое враньё, какое можно сочинить за ночь в холодной, — и Корин в который раз убедился, что честность есть роскошь и не всякому по карману.

— Приметы, — вздохнул бургомистр.

Приметы дали. Худая. Жилистая. Две косы. Ничего такого, чего не сыскалось бы на любом рыбном рынке отсюда до Норвена, — и бургомистр, записывая, понимал это не хуже них. Так у дела обрисовался четвёртый фигурант: единственная из четверых, кому хватило ума не оставить по себе ничего, кроме двух кос в чужом протоколе.

— Итого, — бургомистр обмакнул перо. — Соучастие не доказано. Глупость доказана полностью, но за глупость у нас не вешают — виселиц не напасёшься. Закон есть закон: посидите до выяснения.

— Долго? — спросил Корин.

— Пока не выяснится, — сказал бургомистр. — Или пока не понадобится.

Последнюю фразу Корин запомнил. Из всего сказанного бургомистром она одна была честной.

Дальше был заспанный писарь с описью — клещи, щит, секира, три ножа разной степени честности, чистый блокнот да Паэлиасов доспех со знаком ордена на нагруднике, — и напротив каждого предмета, не поднимая глаз, он вывел одно и то же слово: «хлам». Знак ордена писарь почтил тем же словом, не сбившись с руки. Корин проследил за пером с болью коллекционера — тем более острой, что в опись попало не всё: туганов мешочек остался за пазухой, где его проглядел торопливый обыск в Триволе. Зиндагарский писарь искал не лучше — только медленнее, а у полурослика складок всегда находилось больше, чем у казённого человека — тер-

пения. «Хлам» напротив ордена Паэлиас снёс молча, а вот блокнот задел его с обидой, которой он сам от себя не ожидал: тот ещё не содержал ни строчки, а уже был оценён. Потом заскрежетал засов, и их втокнули в камеру — три стены дикого камня и ржавая решётка вместо четвёртой. Внутри было темно, сыро и, как выяснилось, занято.

— Стоп, — сказала темнота. — На солому не садиться. Солома — кубрик. Кубрик занят.

— Мы, кажется, не... — начал Паэлиас.

— Новобранцы спят у параши, — сообщила темнота. — Таков порядок. Утром распределяю.

— Мы не новобранцы, — сказал Корин.

— Все так говорят, — сказала темнота и захрапела.

Утро внесло ясность, хотя ясность эта поднимала больше вопросов, чем снимала. На соломе сидел коренастый дворф, одетый так, что даже в полутьме камеры рябило в глазах: колет из красных и чёрных половин, ушитый явно не по его размеру, весь в разрезах, из которых пузырилась светлая ткань рубахи. Наряд стоил, надо думать, как хорошая лошадь, и сидел, как седло на козе, — но носился с достоинством, какого хватило бы на трёх королей. Лицо сухое, скуластое, обветренное до морщин; от правого глаза до щеки тянулся длинный старый шрам, а от шеи и ниже кожа была сплошь синяя от татуировок, никак между собой не связанных, будто их набивали в разных портах разные пьяные люди — что, вероятно, было чистой правдой. На левой щеке темнели три палочки: «VI». Грязновато-рыжие волосы стояли надо лбом высоким гребнем, как у ящероловлей. По поясу болтались пустые крючья, и время от времени дворф дёргал ладонью туда, где привыкло быть железу.

Второй сосед обнаружился у дальней стены — ростом с платяной шкаф и молчаливый, как шкаф же. Несло от него перегаром, дешёвым ромом и чем-то ещё — быть может, воспоминаниями, которых не смывает и ром. Орк. Кожа зелёная, руки, способные выломать дверь вместе с косяком, и взгляд человека, который побывал в аду, вернулся и никому не советует туда ездить даже по большой нужде. На шее у него висел на кожаном шнурке самодельный оберег: волчий клык, речной голыш с дыркой да жёсткая прядь конского волоса. Такие не покупают и не дарят — такие собирают сами, и всегда от чего-то очень определённого. Орк трогал его, когда нервничал. Нервничал часто.

— Я Паэлиас, — представился паладин, потому что вежливость была у него вместо брони. — Это Корин. Это Хролл.

— Не спрашивал, — сказал дворф. — Но запомню. Капитану положено знать команду.

— Какую команду? — не понял Паэлиас.

— Мою.

— А вы, простите, кто?

— Я капитан, — ответил дворф, и в тесной камере это прозвучало как объявление войны. — Прочее — детали. Капитан Данце, — добавил он, и имя вышло, как звук удара топора по камню: ДаннЦЦ.

— А вы, стало быть, вся его команда? — вежливо повернулся Паэлиас к орку.

Внутри у орка ответ сложился сразу и сложился красиво: «Имею честь состоять при капитане первым и, увы, единственным матросом, что, Впрочем, нисколько не умаляет ни его звания, ни моего усердия». Про себя Крек изъяснялся превосходно — там, за низким лбом, жил голос звучный и стройный, любивший длинные периоды и слова вроде «ибо». Беда была в дороге: между головой Крека и его ртом лежала невидимая переправа, и слова, переходя её, тонули десятками. Выживали самые крепкие.

— Крек, — сказал орк и ткнул себя пальцем в грудь, чтобы не осталось сомнений, чьё это имя. — Команда, — и тот же палец указал на капитана.

Слушатели, как правило, считали его дураком. Крек не возражал: дурака в кабаке ударят по лицу, умного — по кошельку, а по лицу дешевле.

Из троих новичков один был Креку почти вровень — северянин, в котором мышц было куда больше, чем слов. Всю ночь он продремал в своём углу молчком; теперь, при утреннем свете, две горы наконец разглядели одна другую.

Мир мерил Крека двумя взглядами. Одни смотрели со страхом. Другие — как на топор, который нынче в цене. Хролл не смотрел ни так, ни этак: он оглядел зелёного соседа неспешно, от кулаков к плечам, как оглядывают не оружие и не чудище, а того, с кем, чего доброго, придётся однажды стоять в одном строю — или ломать друг о друга скамьи, что для северянина было, в сущности, тем же родом близости. Оба исхода его равно устраивали.

Внутри у Крека сложилось нечто обстоятельное — о том, что сосед из той породы, какую в драке лучше держать по свою руку, ибо в чужой такая обходится дорого. Наружу переправу перешло одно слово:

— Большой.

— Мал не уродился, — не стал спорить Хролл и смерил соседа ещё раз, теперь уже без нужды: своё он для себя решил.

К полудню выяснилось, что «прочее — детали» у капитана означало программу действий. Камеру произвели в судно окончательно: солома — кубрик, ведро в углу — галюн, щель под дверью, из которой тянуло кашей, — камбуз. Данце расписал вахты: назначил Паэлиаса судовым священником, Корина — казначеем («руки чистые, глаза жадные — годишься»), а Хролла, смерив его взглядом, — балластом. Хролл, подумав, возражать не стал: балласту не задают вопросов. Стража слушала всё это через решётку и крутила пальцем у виска. Стража не понимала главного: в трюме легче сидеть тому, кто твёрдо решил, что он в плавании.

Командиром Данце, к слову, никто из них не считал — ни в то утро, ни после. Просто спорить с дворфом выходило дороже, чем дать ему покомандовать, а Корин к тому же рассудил, что дворф, орущий впереди, — это разведка, которую не жалко.

Камбуз, впрочем, оказался единственной частью судна, которую капитан не выдумал.

Кормили дважды: на рассвете и в тот час, когда снаружи, надо полагать, темнело. Кормёжку возил по коридору ключник — сухонький старик, глухой на одно ухо и равнодушный на оба. Имени его не знал никто, да никто и не спрашивал; острог звал его Пасюком, и прозвище бежало по коридору впереди самого старика: заслышав колёсико, камеры передавали его дальше, как передают время, — «Пасюк идёт», — так что новичок узнавал имя раньше, чем видел лицо. Старик катил перед собой бочку, черпал деревянным ковшом и разливал по мискам, просунутым под решётку. Каша была ячменная, серая и неизменно пригорелая снизу: Пасюк мешал её редко, полагая, что арестанту привередничать не по чину. Иногда в кашу попадало сало. Чаще — то, что салом когда-то было.

— Кок — дрянь, — вынес приговор Данце после первой миски. — Кока сменить. Пасюк! Ты кок?

Пасюк не обернулся. Он был глух именно тем ухом, каким стоял к камере, — и это, по единодушному мнению стражи, было главной причиной, по которой его до сих пор держали на службе.

Паэлиас читал над миской короткую молитву, всякий раз с надеждой. Каша от молитвы лучше не делалась; паладин отмечал это без обиды, подозревая, что свет занят вещами покрупнее ячменя. Крек съедал порцию в три движения, после чего долго вылизывал миску — не от голода, а по привычке тех лет, когда второй не будет. Хролл ел молча.

А Корин хлебал пригорелую ячку, имея за пазухой чужие деньги. Богатства в мешочке не было и близко: Ил-люха платил не за подвиг, а за грязную работу, и платил по её цене — на доброго коня не хватило бы, на хромую кобылу впритык. Зато на одного покладистого стражника — в самый раз; для того, надо полагать, золото и откладывали. Насмешка выходила отменная: стражи вокруг избыток, денег ровно на одного, и ни единого способа их потратить. Подкуп требует человека, которому взять проще, чем отнять, — а в остроге таких не держат: тут довольно вынуть медяк на кашу поприличнее, чтобы к утру остаться без медяка, без мешочка и без зубов — каковых у полурослика имелось тридцать два, все свои, и в его ремесле это была не гордость, а вывеска. В остроге золото — не еда, а приговор. Так что казначей ел кашу и помалкивал, и это была самая дорогая каша в его жизни.

Крек мотнул головой куда-то за стену. Там, за толщей камня, в темноте фыркали и переступали лошади — конюшня примыкала к самому острогу. Орк прислушивался к ним так, как иные прислушиваются к друзьям, и порой тихо ронял в стену несколько слов на орочьем. Лошади, казалось, отвечали.

— Докладывай, — велел Данце Корину вечером, выбрав его как самого разумного из троих, чем нанёс Паэлиасу обиду, которой паладин не заметил. — За что сидите. Капитан должен знать, кого берёт.

— Нас никто не брал, — сказал Корин.

— Это пока.

Корин послал бы его подальше, но камера была мала, ночь длинна, а скука в тюрьме опаснее крыс. И потом, сосед — это либо угроза, либо польза, и выяснить, которая из двух, дешевле всего разговором.

— Услуга за услугу, — сказал он. — Я расскажу, за что сидим мы. Ты — за что вы. Только уговор — без вранья. Ты мне — я тебе, всё по-честному.

— Идёт, — согласился Данце с лёгкостью человека, который врёт не для выгоды, а для красоты, и потому враньём это не считает.

Корин рассказал. Про чужую драку, в которой четверо незнакомых людей ни с того ни с сего оказались спина к спине. Про рогатого, который писал в углу записки. Про золото и про «брата на казни», которого, если разобраться, никто и в глаза не видел. Про то, как посреди двора, на глазах у всех, командир тривольской стражи сгорел заживо в собственном доспехе — и как доспех после стёк на камни. О второй записке и о Яшгаре он умолчал — не из недоверия даже, а по всё той же привычке придерживать козырь.

Данце слушал, задумчиво скребя бороду толстым пальцем.

— Стой, — сказал он. — Вас было четверо.

— Трое.

— Ты сказал «четверо». Один раз, в самом начале, — а дальше говорил «мы» и счёт обходил стороной. — Дворф загнул толстый палец. — Считать я умею пьяным, в темноте и на качке: на счёте у меня команда держалась. Голов вижу три. Где четвёртая?

Корин отметил про себя, что человек, произведший ведро в галюн, слушает внимательнее, чем можно было ожидать.

— Ушла, — сказал он. — Едва запахло палёным. Буквально.

Данце помолчал. Потом произнёс — коротко, спокойно, как называют вещь своим именем:

— Дезертир.

— Умная, — поправил Корин.

— Одно другому не мешает. Умные дезертируют первыми, на то они и умные. А тонут после все одинаково.

— Она не тонула. Она сошла на берег.

— С борта, который ещё держался на воде, — сказал Данце. — Это и называется тем словом, которое я сказал.

Спорить Корин не стал — и вовсе не потому, что согласился. Просто дворф впервые сказал нечто, чего полурослику не хотелось повторять вслух. В ту ночь у него самого были

тень, угол и полминуты. Он остался. Почему — не мог себе объяснить до сих пор и всякий раз, подступаясь к этому вопросу, обнаруживал, что ответа нет, а вопрос никуда не делся.

— Рогатый, — повторил Данце наконец. — Значит, рогатый. Я таких видел. Обычно у них в кармане чужие деньги и чужая беда.

— Теперь ты, — сказал Корин. — Уговор.

— За компанию, — отмахнулся Данце. — Кто-то в городе устроил драку, кто-то кричал громче остальных. Меня схватили за голос. Крека — за плечо рядом.

— Бургомистр так и записал?

Данце помолчал. Потом сплюнул в угол — по-капитански, будто якорь всё равно где-то на дне.

— Нет. Бургомистр записал хулиганство. Драку. Порчу имущества. Меня допрашивали трижды. Сначала я им сказал, что они идиоты. Не помогло. Второй раз — что они полные идиоты. Тоже не помогло. Потом — что на меня подлю напали. Помогло. Дело закрыли.

— Уго-вор, — повторил Корин по слогам.

— На самом деле, — сказал дворф тише, — мы пили. Я и Крек. Обсуждали мой план. И слушатель нашёлся. Умный человек — редкость по нынешним временам: слушал, не перебивал, наливал. Мне было что рассказать, а ему — чем наливать. Утром — ни слушателя, ни кошельков.

— Ни карты, — сказал Данце после паузы, и сказал по-другому: без напора, почти про себя.

Крек, сидевший у стены, молча сжал в кулаке оберег. Что именно орк думал о капитановой карте, осталось между ним и волчьим клыком.

— Слушатель, — сказал Корин. — Какой из себя?

— Рогатая, — сказал Крек.

— Крек! — рявкнул капитан.

— Слушала. Наливала. — Крек показал ладонями над головой. — Рога — вот такие.

Данце засопел, как кузнечный мех, но спорить не стал. Спорить было нечем: голова после той ночи помнила одни обрывки, и рога в них действительно присутствовали.

— Нас нанял рогатый, — подвёл итог Корин. — Вас обчистила рогатая. Весёлые края.

Как капитан обзавёлся командой, вытягивать не пришлось — Данце рассказал сам, на вторую ночь, причём с гордостью, которой история не вполне заслуживала. По словам обоих — а совпадали эти слова лишь местами, — было так.

Данце, уже сильно нетрезвый, шёл из одного кабака в другой, и между кабаками ему встретила конюшня, а у конюшни — орк на перевёрнутом ведре, беседующий с лошадьми. Всякому трезвому человеку этого хватило бы, чтобы прибавить шагу. Данце трезвым не был.

— Ты, — сказал он, ткнув пальцем. — Большой. В команду.

— Куда? — спросил Крек.

Данце широким жестом обвёл конюшню, лужу и звёзды над Зиндагаром:

— Флот.

Флота не было. Был пергамент за пазухой — Данце вытащил его и развернул прямо на крышке корыта: линии, крестики, что-то, похожее на берег. Крек сначала решил, что перед ним пьяница, который рисует сны на бумаге. Потом увидел, как дворф складывает свёрток — бережно, как складывают карту места, где ждёт корабль, — и понял: пьяница, но не только.

Деревня, где Крек вырос, выставила его за ворота, как выставляют треснувшую бочку — без злобы, но и без сожаления; с тех пор он предлагал миру единственную свою монету, силу, и мир монету брал, а сдачи не давал. Наниматели смотрели ему на кулаки. Трактирщики — на дверь. Пьяный дворф у конюшни оказался первым, кто посмотрел так, будто перед ним не орудие, а матрос. Внутри у Крека сложилось что-то длинное и рассудительное — о том, что предложение следует обдумать, навести справки о судне, жалованье и нанимателе. Наружу вышло:

— Крек согласный.

— Жалованье потом, — честно предупредил капитан. — Слава сразу.

Пополнение обмыли — там-то, в кабаке, и нашлась рогатая слушательница. Так первый день службы Крека кончился пустыми карманами, а второй начался решёткой. Орк не был в обиде: бывали у него службы и хуже — о них он не рассказывал даже лошадям.

— Будущее, — сказал Данце тогда, у корыта, про свою карту. — Или прошлое. Мне всё равно. Главное — куда ведёт.

С того дня орк слушал капитана иначе: не как пьяницу, а как человека, у которого есть куда идти — даже если дорогу у него украли.

Вторая ночь на том не кончилась.

Острог не молчал никогда. Камера только с виду была отдельной: на деле — одна ячейка в большом улье, который дышал и переговаривался круглые сутки. За стеной слева кто-то ровно, без злобы и без надежды, бился головой о камень — негромко, размеренно, будто отсчитывал что-то своё. Справа, через две камеры, сидел должник, который пел. Голос был хороший, песни — все до одной про дом, и оттого к третьей ночи их ненавидел весь коридор. Внизу, в подвале, куда еду носили редко и без ковша, не пел никто.

По ночам кто-то звал мать. Кто-то торговался с судьёй, которого тут не было и не предвиделось. Раз-два в сутки по коридору волокли новеньких, и слышно было, как те объясняют, что вышла ошибка. Ошибка выходила у всех. Стража привыкла к этому, как привыкают к скрипу двери.

Капитан не выдержал.

— Второй кубрик! — рявкнул он в стену. — Отставить вой! Спать по вахтам!

Стена онемела. Потом за стеной подумали. Потом хриплый голос — судя по всему, тот самый, что бился головой, — осведомился, кто спрашивает.

— Капитан, — ответил Данце.

Возразить на это в остроге было нечем.

На третью ночь капитана прорвало на подвиги — свои, разумеется. Топоров не было, зато был голос, и он, по мнению Данце, почти то же самое.

— Корабль у меня был такой, — сообщил он, — что в вашем Зиндагаре он бы не поместился. Гавань мелкая. Команда — тридцать душ, воровали меньше положенного, а это, чтоб вы знали, признак любви. Слава — на весь берег. От Норвена до южных архипелагов. А где не на весь — там просто пока не слыхали. Топоры мои видели? Не видели. «Левая» и «Правая». О чём это я. А! Потом был бой. Один против своры — со мной всегда так, по одному на меня ходить боятся. Корабль потопили. Я пошёл на дно вместе с ним — потому что так положено: капитан либо побеждает, либо тонет, а я в тот день был занят, я тонул. — Он поднял палец. — Море меня выплюнуло. Живого. Море дураков не берёт, запомните. Проверено на себе.

— А команда? — спросил Паэлиас.

Данце ответил не сразу. И ответил тише, чем говорил всё остальное:

— Команду море взяло. Всю. Тридцать душ. Оно так устроено: дрянь выплёвывает, хорошее оставляет себе.

Никто не возразил — даже Корин, хотя у Корина уже вертелся на языке вопрос, простой, как отмычка: если капитан шёл на дно вместе с кораблём, откуда ему знать, что случилось с командой? Видел он их гибель своими глазами — или додумал потом, на берегу, между «где я» и «где все»? Дыру Корин видел. Корин промолчал: он умел отличать враньё, на котором человека ловят, от вранья, которым человек держится, — и второго не трогал. Выдерни его, и хозяин осыплется следом.

А как оно было на самом деле в ту ночь — про то знали море, «Левая», «Правая» да одна драгоценная карта. И все четверо помалкивали.

— С тех пор вынашиваю мысль, — закончил Данце, зевнув. — Команду — наберу. Корабль — найду. Карту... — он осёкся на полуслове и махнул рукой. — ...найду всё остальное.

Крек слушал и кивал. Орк не верил каждому слову — он верил направлению. Капитан, который после дна всё ещё ищет палубу под ногами, орку был понятнее любого святого.

В ночи Крек проснулся от собственного хрипа. Где-то в глубине снова разверзся портал — тот самый. Огонь. Черти. Он моргнул. Черти не исчезли. Они всегда ждали за веками, терпеливые, как кредиторы. Орк стиснул оберег так, что клык на шнурке впился в ладонь.

— Кошмары? — спросили из темноты. Данце не спал — сидел, привалившись к стене, и смотрел на него без страха и без жалости, что само по себе было редкостью: обычно люди выбирали одно из двух.

— Черти, — сказал Крек.

— На моём судне чертей не будет, — сообщил капитан буднично, как сообщают о запрете курить над бочкой гремучего порошка. — Не положено. Устав.

И до утра рассказывал — про шторм у южных островов, про кита размером с ратушу, про то, как в одиночку взял на абордаж галеон с шёлком и три дня не мог поделить добычу сам с собой. Всё это было враньё. Крек знал, что враньё, и Данце знал, что Крек знает, и оба знали, что дело не в правде. Чертям, как ни странно, именно враньё и не нравилось: к рассвету они отступили за веки и там затихли. Молитва, возможно, справилась бы быстрее — но молитв Креку никто не предлагал, а капитанских бак было не жалко.

Паэлиас, лежавший без сна у другой стены, слышал всё. Этой ночи в «Светоче» не будет: ни подвига, ни света, только два голоса в темноте. О таких вещах хроники молчат, и тем хуже для хроник.

Одну строчку он всё-таки попробовал. «Нас было четверо» — вышло само и вышло правдой, и на этом «Светоч» кончился снова: за словом «четверо» полагалось имя, а имени не было.

Думал он, впрочем, не о хронике. Думал о том, нашлось ли ей сегодня где спать и не голодна ли она, и злился, что спросить не у кого и помочь нечем. И уже засыпая, поймал себя на мысли, которую не стал додумывать: из четверых свободна нынче одна — та, что не сказала о себе ничего. Паэлиас отложил эту мысль до утра. Утром он о ней не вспомнил.

К четвёртому утру капитану отвечали три камеры. Должника произвели в судовые музыканты, и он перешёл с песен про дом на песни про море, отчего сделался вполне сносен. Тот, что бился головой, оказался не безумцем, а лодочником с Мутной, отсидевшим четыре года за чужой груз: он бился, потому что иначе не умел считать дни. Данце избавил его от этого труда, объявив, что счёт дням отныне ведёт вахтенный журнал, а журнал ведёт капитан. Лодочник заплакал.

Ни одному из этих людей Данце не помог ничем. Он не мог вывести их за ворота, не мог скостить им сроки, не мог передать им лишней ложки каши. Он мог только орать в стену, что они — команда. Как ни странно, многим этого хватило: без свободы человек живёт сносно, а вот без должности — куда хуже.

На четвёртое утро к решётке явился лейтенант городской стражи — толстый человек лет пятидесяти, с розовыми пухлыми щеками младенца, которого хорошо кормят и никогда не расстраивают. Двигался он со скоростью человека, которому платят за должность, а не за движение.

— Омидор, — представился он. — Лейтенант Омидор.

По тому, как он это произнёс, было ясно, что первая половина фразы нравится ему существенно больше второй. Потом лейтенант замолчал и некоторое время изучал стену над их головами, будто пришёл не по делу, а спрятаться.

— Кормёжка дорожает, — сообщил он наконец. — А вы — едоки. Пятеро. — Он повздыхал. — Есть, скажем так, дельце. Небольшое. Почти прогулка.

— Насколько «почти»? — спросил Корин.

— Гойсан, — сказал Омидор и сделал паузу, будто слово должно было всё объяснить.

Слово не объяснило. Трое из Триволя слышали его впервые: здешних краёв они не знали вовсе — их сюда привезли в клетке, а из клетки география скудная.

— Это что? — спросил Паэлиас.

— Местечко. — Лейтенант разглядывал что-то поверх их голов. — За холмами, двое суток тракта. Овцы, тропы, тишина. В холмах — пещеры.

— А в пещерах?

— Население, — уклончиво сказал Омидор.

— Гоблины, — перевёл Данце. — В кабаках болтали. Режут овец, грабят обозы. Что, лейтенант, не признают твоей юрисдикции?

— Племя, — нехотя признал Омидор. — Наглое. Мы посылали стражу. Дважды. Стража возвращалась быстро и не вся. Посылали наёмников — те не вернулись вовсе. — Он пожевал губами и впервые посмотрел им в глаза. — Идти туда самому мне... нецелесообразно. А вы люди, судя по протоколу, шумные. Расчистите пещеры — отпущу всех пятерых, дело в архив.

— А если мы там поляжем? — уточнил Корин тоном, каким торгуются о цене.

— Тогда я напишу отчёт, — пожал плечами лейтенант. — Отчёты, в отличие от вас, ничем не пахнут. Да, и вот ещё. Я приставлю к вам ответственного человека. Он вернётся живым — это часть уговора.

— Зачем он нам? — спросил Корин.

— Он принесёт рапорт. И — без обид — проследит, чтобы вы шли в Гойсан, а не от него.

Данце уже стоял.

— Сколько их там?

— Не знаю, — сказал Омидор.

— Тем лучше. Больше славы на брата. Условия: топоры вперёд. Без них я никуда. Дальше: командую я. Дальше: по возвращении город выплачивает моей команде...

— Ваш скарб вернём весь, — перебил Омидор с зевком. — Всё, что забрали при поступлении. Никому ваш мусор не нужен — в кладовой место занимает.

— Мусор, — повторил Данце. Медленно. — МУСОР?! Вы тут что, всей стражей головой поехали, черти сухопутные?! Я вам покажу мусор! Я этот «мусор»...

— Вернём, — сказал Омидор, которому было лень пугаться. — Уже сказал. Идёте или нет?

Вечность в остроге пахла пригорелой кашей. Гойсан обещал пахнуть сырым камнем и гоблинской кровью. Выбор был скверный, зато простой.

— Идём, — решил Данце за всех, не оглянувшись ни на кого.

Никто не возразил — что капитан, разумеется, засчитал как единогласное доверие. Остальные просто прикинули то же, что и лейтенант: свобода дороже спора.

Второе и третье условия Омидор, кстати, так и не расслышал.

У ворот острога стражник выложил их скарб. Топоры звякнули о камень — «Левая» и «Правая», резные рукоятки, будто и не лежали в кладовой среди ржавого хлама. Данце повесил их на крючья, и плечи у него сразу расправились: капитан снова стал похож на капитана, а не на заключённого с пустым поясом. Креку вернули моток верёвки, костяной гребень для лошадиных грив и половину медяка; орк проверил, всё ли на месте, и кивнул с достоинством владельца. Паэлиас получил щит, доспех и блокнот; доспех он надел сразу, и знак ордена на груди, тускло блеснув, разом отменил всё, что писарь про него вывел пером. Блокнот он зачем-то отряхнул, хотя пыли на нём не было. Хролл молча принял секиру и закинул за спину — с тем лицом, с каким встречают старого собутыльника. Корин получил клещи и три своих ножа, занесённых в опись «разной степени честности» — рабочий инструмент зубодёра и слесаря, без романтики. А заодно, уже от себя, прихватил у нерасторопного стражника трубку и сложенную карту здешних дорог: не по злобе, а из принципа, что казённое имущество должно служить людям.

Уходили они под крик. Весть, что капитана выпускают, прошла по камерам быстрее, чем Пасюк со своей бочкой, и, когда пятерых вели коридором, острог провожал их в голос: гудел, стучал мисками в решётки, орал что-то нестройное. Лодочник с Мутной требовал не забыть про вахтенный журнал. Должник затынул про море, и на этот раз ему подпевали.

— Вернись! — гаркнул Данце уже в дверях. — Всех заберу! Слово капитана!

Обещание было совершенно искреннее. Так же искренне капитан собирался найти корабль, набрать команду и отыскать карту, и порядок этих дел в его голове был именно таков.

Стража вытолкала его на свет.

За стеной острога, в конюшне, разом фыркнули лошади — словно проголосовали за свободу. Крек обернулся на звук и поднял ладонь. Прощаться с лошадьми он считал делом более осмысленным, чем прощаться со стражей.

Тут же, у ворот, обнаружился и обещанный ответственный человек.

Ответственный человек был на голову ниже Паэлиаса, вдвое уже Крека, и алебарда, на которую он опирался, была заметно выше него самого. Шлем сидел на нём так, как сидит котёл на заборном столбе. Из-под шлема смотрели глаза — честные и глубоко несчастные.

— Рядовой Боблин, — представился он и покраснел, будто извинялся за оба слова сразу.

— Это тебя лейтенант назначил ответственным? — уточнил Корин.

— Так точно. — Боблин вздохнул. — Я единственный не успел спрятаться, когда спрашивали добровольцев.

Честность подкупала. Больше ничего подкупающего в рядовом Боблине, правду сказать, не имелось: он всем своим видом опровергал героические песни.

— Пополнение, — оценил Данце, обойдя стражника кругом, как обходят лошадь на ярмарке. — Хилое. Запишу юнгой.

Боблин не спорил.

До городских ворот он и повёл их — не спеша, потому что спешить в Гойсан не хотелось даже Данце, хотя Данце в этом и не признался бы.

А Зиндагар оказался куда больше и шумнее, чем помнился из клетки. Сами зиндагарцы звали его Жемчужиной Долины, и, как всякое самоназвание, это говорило больше о зиндагарцах, чем о жемчуге. Город стоял на Мутной — реке широкой, деловитой и вполне оправдывающей своё имя, которое переселенцы дали ей в первый же год, не мудрствуя и не приукрашивая; вдоль набережных теснились баржи, их загружали, разгружали и проклинали на четырёх языках сразу. Ремесленные кварталы звенели медью, пахли кожей, горячим воском и свежей стружкой; на рыночной площади торговали всем, что можно унести, и кое-чем, что нельзя. Поговаривали ещё, будто где-то в городе заседают звонари — тайное общество, которое спасает мир так незаметно, что мир об этом не догадывается. Боблин в звонарей не верил: по его опыту, всё тайное в Зиндагаре рано или поздно оказывалось контрабандой.

— Гавань, — фыркнул Данце, оглядев причалы. — Лужа с корытами. Мой корабль сюда бы не вошёл. Из уважения к себе.

Паэлиас задержался у церкви: на шпиле сидела чайка — белая, неподвижная, на самом солнце, — и паладин, задрав голову, счёл её добрым знаком для будущей хроники. Пока он

стоял, рядом притормозил прохожий, за ним второй, а там и с десяток: все высматривали, что он такое углядел. Разошлись недовольные, и каждый решил, что просто не разглядел; чудеса тут заводятся именно так. Крек шёл через город, как идут через чужой лес — не глаза и не задерживаясь, — и оживился один раз, у караван-сарая, где пахло сеном и конским потом. Корин не глазел вовсе: он считал. Ворота, посты, проулки, крыши — полурослик раскладывал город по полочкам с бессознательной обстоятельностью мастера, который, входя в чужой дом, первым делом замечает, как заперта дверь.

Обедать Боблин привёл их в «Сытого лодочника» — кабачок у речных причалов, где, по его рекомендации, «кормят на медяк, а наливают на два». Внутри пахло варёной рыбой, смолой и мокрыми канатами; за окном скрипели баржи. Платил Корин — из туганова мешочка, со вздохом, в котором смешались боль казначея и облегчение едока.

Разговор за столом сложился сам, как складывается он у людей, которым завтра в одну сторону.

— А в стражу ты как попал? — спросил Паэлиас.

— Не по призванию, — вздохнул Боблин. — Отец метил меня в пекари. Но в пекарне места не нашлось, а в страже был недобор. Меня и добрали. Восьмой год служу. Алебарду обнажал один раз — на смотре, по команде.

— И гордишься, — сказал Корин. Без насмешки.

— Горжусь, — просто ответил Боблин. — Все, кто обнажал чаще, уже на пенсии. На вечной. — Он поковырял рыбу. — Я по-другому хочу. Домик у реки. Огород. Куры. Курам всё равно, храбрый ты или нет, — за это я их и уважаю.

— После Гойсана, — великодушно объявил Данце, — зачислю тебя в команду насовсем. Юнгой. Море делает из людей людей.

— Меня уже сделала стража, — испугался Боблин. — Два раза не надо.

Хролл в разговоре не участвовал. Хролл заказал самую большую кружку, какая нашлась в заведении, и осушил её до дна — единым глотком, не отрываясь, как пьют воду после долгой дороги. Потом поставил, посмотрел на неё с глубоким удовлетворением и заказал вторую. За всё знакомство никто не видел его таким довольным.

— За что пьёшь? — поинтересовался Данце.

— За всё, — сказал Хролл. — Сразу.

Вторую кружку северянин до дна не довёл. На середине он остановился, оглядел стол — говорливого капитана, языкастого казначея, паладина с его вопросами, юнгу с курами, — и толкнул кружку через доски туда, где молча сидел Крек. Без слова. Просто подвинул, как двигают ближе к соседу солонку.

Орк посмотрел на кружку, потом на северянина. Угощали Крека за всю его жизнь нечасто, а бескорыстно — и вовсе никогда: даровое пиво в его опыте неизменно оказывалось задат-

ком за работу, которую после не хотелось делать. Внутри сложилось длинное и осторожное — о том, что дарёному прежде следовало бы выяснить цену. Но Хролл цены не назвал. Хролл вообще ничего не сказал: пить с кем-то молча — не то же самое, что пить одному, а слов на это не требуется, и в этом они с орком сошлись, не сговариваясь. Крек отпил и толкнул кружку обратно. Хролл кивнул. На том их беседа за обедом и кончилась — самая долгая, какую орк вёл в тот день с человеком, не считая, разумеется, лошадей.

— Корабль, — вернулся капитан к главному, тыча рыбьим хвостом в сторону окна и реки за ним. — Настоящий, не эти корыта. Команда у меня уже есть — вот она, за столом.

— Мы тебе не команда, — поправил Корин.

— Вы мне пока не команда, — великодушно согласился Данце. — Это пройдёт.

— На корабль нужны деньги.

— Деньги приносит слава.

— Слава приносит виселицу, — сказал Корин. — Деньги приносит работа. Тихая.

— Скучно живёшь, казначей, — вздохнул капитан. — Долго проживёшь.

Крек за весь обед спросил одно: где в городе держат караванных лошадей и хорошо ли их кормят. Боблин ответил подробно, с именами конюхов и ценами на овёс, — и заработал этим у орка больше уважения, чем весь Зиндагар за трое суток.

Паэлиас, дождавшись, пока уберут миски, открыл блокнот, обмакнул перо, подержал его над первой страницей — и закрыл блокнот. Первая строчка опять не далась. «Мы вышли из тюрьмы и пообедали» — для благочестивого альманаха этого было маловато.

Из города вышли после полудня — мимо помоста у ворот, на котором, по заверению Боблина, месяц никого не вешали: в Зиндагаре и на виселицу полагалась бумага, а бумаги здесь ходили медленнее приговорённых. Так, вшестером — если не считать алебарду отдельной боевой единицей, а её стоило бы считать: она одна тут была казённая и исправная, — они и вышли на тракт.

Свобода пахла рекой, пылью и близким дождём. До Гойсана оставалось два дня пути — и вся оставшаяся жизнь, у кого сколько.

Глава 3. Дурное место

Первую лигу от Зиндагара прошли почти весело — насколько бывает весело идти туда, откуда не вернулись наёмники. Обед в «Сытом лодочнике» ещё грел животы, свобода была новой и поскрипывала, как несношенные сапоги, а тракт на Гойсан скоро забыл о городе: петлял между низкими бурными холмами и пах овечьим навозом, пылью и дождём, который так и не собрался.

Данце вышагивал впереди и командовал: воздуху — разойтись, кустам — не шуметь, отряду — держать строй. Отряд слушал вполуха, как слушают дождь. Крек то и дело сходил с тропы к пасшимся в стороне лошадям и что-то им бормотал — с ними ему было спокойнее, чем со спутниками. Паэлиас шёл и молча подбирал первую строчку для «Светоча»: она не давалась ему третьи сутки. Корин глядел на кусты по обе стороны дороги — не потому, что ждал засады, а потому, что сам бы её здесь и устроил. Боблин плёлся в хвосте и вздыхал через шаг.

Раз, когда тропа прошла впритык к дальнему выгону, Крек отстал вовсе. У жердяной изгороди стоял чужой мерин — старый, с проваленной спиной и репьём в свалявшейся гриве, из тех, кого хозяева уже не холят, а доезжают. Завидев, как из-за жердей встаёт зелёное и широкое, мерин прижал уши: добра от таких не ждут ни люди, ни лошади. Но Крек присел на корточки, сделавшись меньше, заговорил на орочьем — тихо, длинно, без единого слова, какое можно было бы разобрать, — и вынул из-за пояса костяной гребень. Репьи он выбирал из гривы прядь за прядью, осторожнее иной няньки; мерин перестал коситься, обмяк и под конец сам потянулся мягкими губами к его плечу. Люди звали Крека чудищем и, завидев, прибавляли шагу; лошадь чудище чувствует первой, а забывает быстрее всех: ей важно не то, каков ты с виду, а злой ты или незлой, — и злым Крек не бывал никогда. Отряд он нагнал уже за поворотом, и вид у него был почти довольный — насколько это слово вообще применимо к лицу, которое видело то, что видел Крек.

На привале Паэлиас спросил Боблина, чего тот ждёт от похода.

— Дожить, — сказал Боблин с чувством. — До конца. А вообще — до пенсии. Долго и незаметно.

Хролл, слушавший вполуха, кивнул: программа была ему близка — за вычетом «незаметно».

На исходе первого дня, когда солнце уже легло на холмы, тракт вывел их на трёх крестьян при телеге со сломанным колесом. Крестьяне возились у оси и были вооружены — вилы, серп и коса, что для починки колеса, вообще говоря, избыточно.

— В телеге кто-то есть, — негромко сказал Корин, не поворачивая головы. — Под тряпками. Связанный. Идём мимо и не оглядываемся.

— Мимо, — тут же скомандовал Данце. — Не наш курс.

Впервые за день его приказ совпал со здравым смыслом — и потому, разумеется, не был исполнен. Паэлиас уже разворачивался. Под тряпьем, если приглядеться, лежала женщина: верёвки на запястьях, тряпка поперёк рта, глаза поверх тряпки — сухие, ясные и слишком спокойные для той, кого везут связанной. Но паладин глядел не на глаза. Паладин глядел на верёвки.

Дева в беде. О таком пишут баллады. Но дело было даже не в балладах: Паэлиас слишком хорошо помнил, каково это — сидеть, связанный чужой бедой, и ждать, подойдёт ли хоть кто-нибудь. К нему когда-то подошли. С тех пор он считал себя обязанным передавать это дальше — как долг, у которого нет последнего платежа.

— Мимо, — сказал Корин ему в спину. Второй раз — и, как он уже понимал, впустую.

— Добрые люди, — начал Паэлиас, выходя к телеге, и рука его сама легла на рукоять, придав «добрым людям» нужный вес. — Кто эта женщина и по какому праву она связана?

Крестьяне разогнулись. Старший — бородатый, с вилами — смерил Паэлиаса взглядом и объяснил, по какому праву, куда палadini идти и что по дороге с собой сделать. Мужик он был усталый, злой, и день у него явно не задался ещё до пришедших.

— Развяжите её, — сказал Паэлиас. — Или я сделаю это сам.

— Стой! — Данце протолкался вперёд. Он собирался сказать, что курс проложен мимо, что телеги с бабами не входят в задачу экспедиции и что капитан запрещает. Но тут старший крестьянин посоветовал «коротышке в шутовском наряде не лезть поперёд», — и вопрос командования решился сам собой. Отменить глупость Данце уже не мог. Возглавить — вполне.

— Внимание! — объявил он. — Командование этой дракой принимаю я!

Драка, правда, началась без его команды и шла своим порядком. Крестьянин с вилами ткнул в Паэлиаса, поминая его Бога словами, которых тот Бог вряд ли одобрил бы, — паладин принял зубья на щит, шагнул вплотную и толкнул, как учили в Ордене: не человека бьёшь, а его равновесие. Мужик сел в дорожную пыль и разом утратил интерес к богословию. Косарь замахнулся на Корина — размашисто, по-сенокосному; полурослик нырнул под лезвие, подсёк ему колено, а когда тот грохнулся, клещи взяли его за нос.

— Тихо, — попросил Корин.

Стало тихо.

Третьего крестьянина Хролл обнял вместе с его серпом, поднял и уложил в телегу — бережно, как урожай. Телега крикнула. Тот остался лежать, здраво рассудив, что лежачего не бьют, а стоячего — как выйдет.

— Именем стражи Зиндагара! — воззвал Боблин, размахивая алебардой на безопасном отдалении. — Прекратить!

Его не услышали.

Крек в драке не участвовал вовсе: он держал крестьянскую лошадь за морду и извинялся перед ней на орочем — за людей вообще и за присутствующих в частности.

Данце тем временем прохаживался вдоль побоища и руководил: «Дожимай!», «Клещи, доверни!», «Балласт, клади мягче!» — сплошь команды, которые исполнялись бы и без него. Когда всё кончилось — а кончилось быстро: трое побитых мужиков стонали в пыли и в телеге, никто, хвала случаю, не был убит, — капитан повесил топоры обратно на крючья, так и не пустив их в дело.

Паэлиас разрезал верёвки. Женщина села, размяла запястья, сама вытащила тряпку из рта — и не закричала, не заплакала, не бросилась благодарить. Она поднялась с телеги, встала в полный рост и обвела их взглядом — всех по очереди, никого не пропустив, неторопливо, как пересчитывают сдачу. На Паэлиасе взгляд задержался — на один удар сердца дольше, чем на прочих.

— Ну, спасибо, — сказала она. Голос был сухой и злой, и благодарности в нём — не больше, чем тепла в зимней луже. — Услужили.

Она оглядела разбросанных по пыли крестьян, телегу со сломанным колесом, всё их доброе дело разом — и добавила, как сплёвывают под ноги:

— С меня причитается.

Брошено это было так, как швыряют медяк надоевшему попрошайке: зло, через губу, не глядя. Меньше всего это походило на обещание, и никто не принял это за обещание.

Почти никто.

А потом её не стало.

Ни вспышки, ни дыма, ни шороха. Просто была — и нет, как задутая свеча; только в остывающем вечернем воздухе остался слабый запах палёного, будто свеча была очень старой. Хролл моргнул. Боблин сел на дорогу. Паэлиас так и стоял с ножом, которым резал верёвки, и нож в его руке вдруг сделался предметом на редкость глупым.

— Что... — сказал он. — Что это сейчас было?

— Это, — отозвался Корин, — было то, мимо чего я предлагал пройти. Дважды предлагал. Заметь: без всякого насилия, просто мимо. Самый недооценённый манёвр на свете.

— Она была связана. Она... нормальные люди так не исчезают.

— Вот именно, — сказал Корин. — нормальные — не исчезают.

Паэлиас оглянулся на крестьян. Те уже уползали к телеге, подвывая и не глядя на спасителей; смотрели они туда, где только что стояла женщина, и в глазах у них стояло то, что Корин прочитал, а Паэлиас — нет. Спросить их никто не догадался. Или не решился.

— Хорошая драка, — подвёл итог Данце, которому любое молчание было тесно, как чужой сапог. — Короткая. Победная. Потерь нет.

Ночевали дальше по тракту, отойдя от места с полмили — никто не предложил этого вслух, но никто и не возразил. У костра Паэлиас достал блокнот, открыл на первой странице и долго сидел над ней с пером. Первая запись выходила двоякой: то «вызволил деву из рук злодеев», то «выпустил неизвестно что неизвестно куда». К полуночи он остановился на деве. Паладины умеют не перечитывать то, что красиво легло на бумагу. За это с них потом и спрашивают.

Крек до полуночи сидел спиной к костру, лицом к темноте, и не выпускал оберег из кулака — так что к утру волчий клык, речной голыш и жёсткая прядь конского волоса были теплее самого орка. Никакой магии в этом не было. Была привычка: когда мир показывает, что умеет исчезать, хорошо держаться за то, что не может.

На второй день тракт измельчал до тропы, тропа ушла в холмы, и к полудню Боблин, сверившись с приметам из казарменных рассказов, объявил упавшим голосом: Гойсан.

Гоблины в Гойсане оказались вовсе не глупы, и это выяснилось быстро и болезненно.

Первым отряд встретил хромой, маленький, орущий гоблин. Он выкатился на тропу из-за поваленного дерева, взвизгнул что-то на своём наречии и припустил к холмам, припадая на левую ногу.

— Приманка, — сказал Корин. — Стоять.

— Языка брать! — взревел Данце и рванул следом, выхватывая топоры на бегу.

Тропа под капитаном чавкнула и разверзлась. Яма была выкопана на совесть, замаскирована на совесть и населена: со дна возмущённо заверещало что-то крысиное. В ту же секунду с гребня холма разом вылетели стрелы, и день расцвёл криками, брызгами и тем особым звоном в ушах, что приходит вместе со страхом.

— Фланг! Держать фланг! — гремело из ямы. Приказы продолжали поступать оттуда бесперебойно, как из хорошо устроенной канцелярии.

Стрелы шли не как попало. Они шли залпами — короткими, злыми, по счёту; между залпами на гребне кто-то коротко взвизгивал, и залп повторялся. Гоблины, о которых в казарменных рассказах говорилось «мелочь, дрянь, мрут пачками», умели считать до трёх и слушать команду.

Боблин с воплем нырнул за камень и вжился в него так, будто хотел стать его частью, — и был бы вполне успешен, окажись камень хоть на ладонь шире. Стрела чиркнула его по плечу, распорол ремень и ушла в пыль. Стражник взвыл и попробовал сделаться ещё меньше.

— Лежи, — сказал Паэлиас и встал перед ним.

Щит загудел, как ведро под градом. Две стрелы кряду он принял на умбон, третью — на кромку; дrevко одной так и осталось торчать, подрагивая, и через дерево, руку и плечо Паэлиас узнал, сколько злости было вложено в этот выстрел.

Крек пошёл к яме не пригибаясь. Пригибаться он умел, но считал это невежливым по отношению к тем, кто в него стреляет. Первая стрела прошла мимо. Вторая вошла ему в левое плечо — глубоко, всерьёз, с тем коротким мокрым звуком, от которого у паладина на миг остановилось сердце.

Крек остановился. Повёл плечом. Пощупал за спиной, нашёл древко, подумал — и не стал с ним ничего делать.

Потом дошёл до ямы, ухватил капитана за шиворот и вынул, как морковку.

Корин к тому времени шёл по осыпи вбок и вверх, тихо и зло, огибая стрелков с фланга, как и подобает тому, кого не звали в честный бой. Хролл добрался до гребня первым и стал распоряжаться гоблинами по-своему: брал и кидал, брал и кидал, как человек, разгружающий баржу. Залпы кончились. Уцелевшие стрелки брызнули в норы — не врассыпную, а все в одну сторону, разом, будто их туда позвали. Корин посмотрел им вслед чуть дольше, чем требовалось, и ничего не сказал.

— Капитан цел? — спросил Паэлиас, переводя дух.

— Капитан провёл разведку нижнего яруса, — ответил Данце с достоинством, вытряхивая из сапога крысиный помёт.

Паэлиас перевёл взгляд на древко, торчащее из Крекового плеча, стянул перчатку и опустился рядом на колено.

— Сядь. У меня, быть может, выйдет...

Он приложил голую ладонь пониже стрелы и забормотал — тихо, буднично, как бормочут привычную молитву на привычном месте. Что было дальше, толком не понял и сам паладин: то ли под ладонью и вправду начало что-то собираться, то ли просто натекло тепло от честной руки и усердия. Но воздух у зелёной кожи потеплел, и вместе с теплом поднялся запах — слабый, ни на что не похожий: так пахнет камень перед грозой, так тянет от железа, поднесённого к огню.

Крек узнал его раньше, чем понял, что узнал.

— Крек не надо.

Сказано это было очень быстро — быстрее, чем орк говорил обыкновенно, — и с полшагом назад. Внутри у него сложилось длинное и вежливое: о том, что руки, из которых идёт свет, суть руки, в которых сидит нечто; а нечто, сидящее в чужих руках, Крек однажды уже видел — под горой, в яме, — и с тех пор из двух зол уверенно выбирал стрелу. Наружу доплыло «не надо».

Ладонь, способная выломать дверь вместе с косяком, накрыла руку паладина и отвела её от раны — бережно, как отводят от огня чужие пальцы. Тепло опало, запах истаял. Паэлиас не настаивал.

Стрелу Крек обломал сам, у самой кожи, и остаток унёс в себе — как уносят долг, который собираются отдать позже и не здесь.

Пещеру нашли за следующим холмом — чёрный зёв в скале, из которого тянуло серой, сыростью и страхом. Не своим — чужим, накопленным теми, кого сюда затаскивали до них. У ручья, что вытекал из зёва, Данце велел остановиться и собрал военный совет. Совет состоял из того, что Данце говорил, а остальные ели.

— План такой. — Капитан разложил на плоском камне прутики, изображавшие, по-видимому, всех присутствующих и их славную гибель. — Переодеваем Боблина гоблином. Морда подходящая, рост подходящий, имя вообще подходящее. Сами слышите. Он заходит, они принимают его за своего, он открывает нам ворота изнутри.

Стало тихо. Паэлиас искал слова. Корин не искал:

— Нет.

— Во что переодеваем? — с интересом спросил Хролл.

— Я не похож на гоблина, — сказал Боблин с надеждой, что хоть это очевидно.

— Все так говорят, — отрезал Данце.

— Крек против, — сказал орк. Замысел капитана, на его вкус, имел ровно один изъян: все свои части.

Против оказались все, включая, что важнее, здравый смысл.

— Тогда что? — набычился Данце.

Корин отставил миску.

— Тогда сперва вопрос. Сколько их?

Все посмотрели на Боблина. Боблин посмотрел на свои сапоги.

— Не знаю, — сказал он. — Стража ходила дважды. Возвращалась быстро и не вся. Потом лейтенант нанял восьмерых с железом. Про них известно только, что их было восемь.

— Восьмерых не хватило, — сказал Корин. — Стало быть, много.

— Стало быть, много, — обрадовался Данце, которому всегда нравилось, когда много.

— Стало быть, много — и в поле мы их не возьмём. — Полурослик подобрал пруттик, которым капитан только что расставлял всеобщую славную гибель, и провёл им черту по камню. — Вот дыра. Вот мы. Выйдут разом, обойдут с холмов — нас сомнут числом, и число будет не наше. А в дыре узко. В узком месте число не считается: сколько бы их ни было, драться с нами будут двое. Третьему негде встать.

— Кишка, — одобрил Крек.

— Кишка, — согласился Корин.

— Выкурим, — предложил Паэлиас.

Он не любил этого предложения и сделал его через силу — но сжечь чужую нору всё-таки дешевле, чем в неё лезть, и паладин полагал себя обязанным сказать это вслух прежде, чем кто-нибудь погибнет из-за его брезгливости. — Хворост. Мокрая трава. Они сами выйдут.

Крек посмотрел на него так, что Паэлиас пожалел о сказанном.

Отвечать, впрочем, пришлось не Креку. Ответила гора.

— Подойди и подставь руку, — сказал Корин.

Паэлиас подошёл к зёву и подставил ладонь. Из чёрной щели ровно, не переставая, тянуло наружу: сыростью, серой, холодом. Пещера дышала. Пещера дышала на них.

— Тяга наружу, — сказал Корин. — Мы её не выкурим. Мы выкурим себя: дым пойдёт нам в лицо, и в лицо же нам выйдут они, а мы будем стоять и плакать, как невесты на чужой свадьбе. Прибавь воду. — Он кивнул на ручей. — Тяга и вода. Хорошее место. Кто-то его выбирал.

— Тогда завалим, — сказал Данце. — Обрушим свод у входа. Пусть сидят.

На это Корин посмотрел на него почти с нежностью.

— Они тут живут: варят, жгут костры, дышат. Будь у них один вход, они бы задохнулись в первую же зиму. Значит, ходов больше. Завалишь этот — выйдут из другого. Ночью. У нас за спиной.

Стало тихо — и на сей раз по-настоящему.

— Так что же, всех резать? — не выдержал Данце. — Их там сотня, может.

— Не всех. Главного. — Полурослик отбросил пруттик. — У таких всегда есть главный: вождь, шаман, старший — тот, кто орёт, и кого при этом слушают. Мы его находим и снимаем. Племя без старшего — уже не племя, а толпа с ножами; толпа с ножами разбегается. Нам не нужно, чтобы они кончились. Нам нужно, чтобы они ушли. И они уйдут: гоблины не дураки.

— А я? — с ужасом спросил Боблин.

— А ты смотришь. Ты у нас глаза лейтенанта. — Корин сказал это без насмешки, что для него было почти нежностью. — Убивать от тебя никто не ждёт. От тебя ждут, что ты вернёшься и расскажешь, что видел. Не вернёшься — мы можем вырезать там хоть всех до последнего и всё равно останемся беглыми убийцами: подтвердить будет некому. Стало быть, твоя задача — не мешать и не умереть. Именно в таком порядке.

— Это я умею, — сказал Боблин с глубоким чувством. — Это я восьмой год умею.

— Идеальный солдат, — одобрил Корин.

— А капитан? — осведомился Данце.

— А капитан идёт вторым. Сразу за мной. — Корин сказал это буднично, как говорят очевидное. — Я вижу, куда нельзя ставить ногу. Но там, где не видно и самой ноги, из нас всех видишь один ты. Дворф. Вы под землёй как дома — даже когда врёте, что выросли в море.

Данце открыл было рот насчёт моря, подумал и закрыл. Вторым он и так собирался идти — но до этой минуты потому, что капитан в обозе не капитан, а пассажир; а теперь выходило, что он нужен. Разница оказалась неожиданно приятной, и Данце промолчал.

Хролл молча передвинулся третьим и не сказал об этом ни слова — да и что тут скажешь.

— А запасной? — спохватился Данце уже на ходу. — У всякого приличного дела должен быть запасной план.

— Есть, — сказал Корин. — Бежать.

Капитан подумал.

— Принимаю, — объявил он наконец. — Запасной план возглавляю лично.

Как выяснится позже, это была единственная его команда за весь Гойсан, которую он исполнил дословно.

Зёв принял их так, как горло принимает лакомый кусок.

Ворота стояли сразу за поворотом — из кривых жердей, не крепость, конечно, но и не изгородь: жерди свежие, вязка тугая, а поперёк, на высоте колена, шла жила из скрученных кишок. К жиле было привязано ведро.

— Не трогать, — сказал Корин.

Ведро сняли и заглянули внутрь. В ведре лежали рыболовные крючья — десятка три, мелкие, ржавые, каждый на своей нитке, и все нитки сходились к жиле. Толкни ворота — и это высыпалось бы в лицо тому, кто стоял бы за ними; а пока он моргал бы и выл, из темноты успели бы подойти.

— Вдумчиво, — сказал Корин, ставя ведро на камень бережно, как ставят полную чашу. — Кто-то здесь думает головой. Мне это не нравится.

Ворота Хролл снял с петель вместе с петлями. Пустое ведро на жиле стукнуло о камень обиженно.

Петлю полурослик нашёл шагов через десять. Она лежала кольцом в пыли, присыпанная крошкой, и второй конец верёвки уходил вверх, в темноту, к чему-то, чего снизу видно не было и чего видеть не хотелось. Корин присел, поцокал языком и перерезал верёвку у самой земли. Наверху, в темноте, что-то мягко село.

— Вот теперь не нравится по-настоящему, — сказал он, вытирая нож. — Ловушки ставят там, где ждут.

За петлёй ход сузился в жёлоб: камень справа, камень слева, темнота впереди — та самая, в которой из них всех спокойно шёл один Данце.

Корин шёл первым, глядя под ноги, — и потому не увидел верёвку, натянутую поперёк, на высоте чужой груди. Полурослик прошёл под ней, не задев. Данце, шедший следом, — тоже: в кои-то веки малый рост обернулся большой удачей.

Хролл шёл третьим.

Щёлкнуло. Свистнуло. Из темноты, с размаху, на двух канатах вылетело бревно — окованное железом, тяжёлое, как чужой грех, — и ударило северянина в грудь, впечатав его в стену.

Гора ухнула. Эхо ушло вглубь, погуляло там и вернулось ни с чем. Хролл сполз по камню и остался лежать — большой, неподвижный и сразу как будто меньше ростом.

— ХРОЛЛ!

Паэлиас упал рядом на колени, содрал перчатки, положил ладони туда, где под рёбрами всё было неправильно. Он молился — сначала как учили, потом как умел, потом просто громко. Свет, которому его учили, которым он собирался чинить этот мир, — свет не пришёл. Или пришёл и не смог. Ладони оставались ладонями: тёплыми, честными и бесполезными.

Хролл приоткрыл глаза. Посмотрел на паладина — без упрёка, с лёгким, почти научным интересом.

— Скучнее... так и не стало, — сказал он.

И перестал дышать.

Паэлиас ещё давил на грудь, ещё звал — свет, Господа, кого угодно. Корин тронул его за плечо и не сразу, но оттащил. Полурослик молчал и потом никогда не рассказывал, что думал в ту минуту про верёвку, натянутую на высоте чужой груди — и про свой рост, которому был этой верёвкой обязан.

— Не балласт — абордажная команда, — тихо сказал Данце, глядя на мёртвого. Это было его отпевание — другого капитан не знал. Потом он поднял голову, и с лица его впервые за все эти дни сошло всё шутовское. — Гоблины заплатят.

Хоронить было нельзя. Не потому, что нечем, — хотя и нечем: под ногами лежал сплошной камень. Пещера была не зачищена, гоблины сидели где-то впереди, в темноте, и сколько их — не знал даже лейтенант в тёплом Зиндагаре. Мёртвому всё равно, а живым — нет; арифметика скверная, но другой у них не было.

Крек поднял Хролла, отнёс к стене и уложил в нишу — ровно, руки на груди. Секиру Паэлиас уложил под руки, чтобы держал. Потом снял плащ и накрыл северянина с головой.

И начал молитву.

— Господь, прими раба твоего...

— Потом, — сказал Корин. Негромко — но паладин осёкся. — Он не спешит. Спешат те, кто впереди. Они сейчас считают, сколько нас осталось, и получают на одного меньше.

Это было верно, бессердечно и своевременно.

— Вернёмся, — сказал Паэлиас, поднимаясь.

Все сделали вид, что поверили. Гора промолчала: у неё на этот счёт имелись свои соображения.

Дальше уозость шла вдоль ручья, мимо гоблинских палаток из шкур — низких, тёплых, ещё живых: в одной догорал уголёк, в другой валялась выструганная из кости куколка, и Паэлиас старался туда не смотреть.

Дважды из темноты на них бросались. Дрались гоблины так, как дерутся только дома: визгливо, разом, со всех сторон, не жалея себя и не считая своих. В первый раз Крек поймал одного за ногу и обрушил на остальных. Во второй достали Боблина — сбили с ног и поволокли за сапог в темноту, и стражник орал так, что закладывало уши, пока Паэлиас не разрубил державшую его руку. Уговор был ясный: Боблин вернётся живым. Паладин относился к этому уговору серьёзнее всех, включая самого Боблина.

И оба раза — оба — гоблины откатывались вглубь. Не бежали. Огрызались, пятились, подбирали своих и уходили дальше, в темноту, к последнему залу.

— Они нас не держат, — сказал Корин негромко, ни к кому не обращаясь. — Они нас пускают.

Данце его не услышал: капитан уже шёл вперёд.

Наступавшие вообще редко задумываются — на то они и наступают.

Последний зал был сердцем пещеры. Своды уходили в темноту, ручей нырял под дальнюю стену, а посреди зала из плоских речных камней был сложен помост в три ступени — не алтарь, не престол: погребальный помост, какие складывают, когда земли под ногами нет и хоронить приходится в камне. На верхней ступени горел единственный факел. Там, в его дрожащем свете, стоял на коленях гоблинский шаман — спиной ко входу. Он не колдовал. Перед ним на камнях лежало тело — маленькое даже по гоблинским меркам, в бусах из речных ракушек, — и шаман раскачивался над ним и выл: тихо, по-стариковски, на одной ноте. Что это было для него — дочь, внучка, последняя надежда племени, — не спросил никто. Здесь никто никогда не спрашивает: зачистка — слово из отчёта, а в отчётах не бывает бус.

Тело было убрано к погребению — руки сложены, лицо обмыто, — и у изголовья горкой лежало то, что кладут уходящим в дорогу: костяная свистулька, горсть ракушек, надкушенное яблоко.

А чуть в стороне, отдельно и очень аккуратно, как выкладывают на прилавок, лежало чужое. Пряжка зиндагарого образца. Обломок прямого клинка. Сапог.

Наёмники, возвращения которых так и не дождался Омидор, дошли досюда. Дальше не прошёл никто.

Рана на маленьком теле была прямая и чистая. Такую не оставляют ни кривой гоблинский тесак, ни камень, ни зверь. Такую оставляет меч — и оставляет её тот, кто бьёт не глядя, потому что торопится и потому что цель ему по колено.

Паэлиас это увидел. Он потом много раз пробовал об этом не вспоминать и много раз вспоминал.

Помост стерегли последние, кто у племени остался: два рослых гоблина в железе с чужого плеча — гвардия, какая уж есть, — и зверь. Ворг, серый, лобастый, с разорванным ухом, стоял над самым телом, и шерсть у него на загривке поднялась раньше, чем пришельцы сделали первый шаг.

Потом шаман обернулся.

Он посмотрел на них — на щит, на кольчугу, на зиндагарую алебарду в трясущихся руках, — и в лице у него не было ни ярости, ни страха. Было узнавание. Он уже видел эти вещи. Такие же лежали у него в изголовье.

И вой перешёл в визг, а визг в команду.

Ворг прыгнул первым — длинно, через полпещеры, целя Паэлиасу в горло. Паладин успел вскинуть щит; удар снёс его с ног, и человек и зверь покатались по камням. Дотянуться до горла ворг не успел: Крек взял его поперёк туловища, оторвал от щита и понёс к стене — молча, как несут бревно, — и стена закончила то, что начали руки. Гвардейцы с копьями двинулись на строй, из боковой норы высыпала мелочь с кривыми клинками — и Корин, растворившийся в темноте ещё на входе, начал собирать с этой мелочи свою тихую жатву: подрезал, подсекал, исчезал.

А Данце пошёл к шаману.

И тут выяснилось то, чего от капитана не ждал никто. Он умел. Первый гвардеец заступил ему дорогу и ткнул копьём — «Левая» приняла древко и отвела в сторону, «Правая» ответила снизу, коротко, без замаха, и гвардейца не стало. Второй ударил сбоку, в голову, — Данце нырнул под остриё, не прервав шага, как ныряют под низкую притолоку в знакомом доме; обух хрустнул по колену, лезвие довершило. Шаман наверху уже кричал своё — воздух густел, у всех в зале заломило зубы, — и Данце взял все три ступени разбегом, как берут абордажный борт. «Правая» оборвала заклинание на полуслове. «Левая» поставила точку.

Он не орал. Не командовал. Не хвастался — впервые с того утра, как назвался капитаном. Он работал, как плотник работает рубанком: буднично, точно, не глядя на стружку. Паэлиас, выбиравшийся из-под щита, поймал себя на том, что не отрывает взгляда. Крек — что улыбается. Корин потом сформулировал за всех, коротко и без обычной желчи: «Врёт он про всё. Про топоры — нет».

Но заклинание, оборванное на полуслове, не умерло вместе с шаманом.

Сначала никто ничего не понял. Звук был не грохот — вздох: длинный, каменный, идущий отовсюду сразу, будто вздохнула сама гора. Потом из трещины над факелом потекла струйка пыли — ровная, тонкая, как песок в часах. Потом вторая.

— Наружу, — сказал Корин. Негромко сказал — но так, что слышали все. Полурослик в жизни налазил по чужим подвалам и штольням и знал, как звучит камень, когда передумал держать. — НАРУЖУ! ВСЕ! БЕГОМ!

Запасной план вступил в силу.

Дальше был бег, который каждый запомнил по-своему и никто — целиком. Свод рушился не сразу и не весь: он складывался за их спинами, зал за залом, как складывается карточный дом под медленной ладонью. Помост в три ступени, шаман, оба гвардейца, ворг у стены — всё, что мгновение назад было полем боя, ушло под камень первым; последним от того зала до них долетел короткий сухой хруст, с каким гора закрыла за собой дверь.

Обратная дорога всегда длиннее, а та, которую бежишь, — вдвое. Они неслись через гоблинское становище, которое ушло под осыпь раньше, чем Паэлиас успел отвести глаза. Гора прибирала за постояльцами не разбирая: очаг, куклу и тех, кто их здесь оставил.

Потом узость стиснуло в жёлоб — камень справа, камень слева, — тот самый, где час назад бревно на двух канатах достало Хролла. Ниша была здесь, у левой стены: плащ, секира, руки, сложенные на груди. Мимо неё пробежали не останавливаясь. Останавливаться было нельзя, и это знали все, но легче от этого не было. Крек на бегу повернул голову — плащ, камень, темнота — и всё. Больше он его не видел никогда. За их спинами жёлоб сложился, и ниши не стало вместе с северянином.

Пыль догнала их в узости у ручья и на время съела свет; они бежали в серой мгле на грохот собственных сапог, и грохот этот всё нарастал сзади — ухнуло раз, ближе — два. Крек вынес плечом остатки ворот, не заметив их. Паэлиас на бегу сгрёб Боблина за шиворот — стражник от ужаса бежал не туда — и выволок его перед собой. Рядом катились уцелевшие гоблины, обгоняя и подрезая, — в свои норы, которых пришлым было не сыскать; они знали куда, и никому из них не было дела до недавних врагов. У горы больше нет своих и чужих.

И вот тут, на бегу, глотая пыль, Корин понял, за что заплатил, — так понимают счёт, который всё это время выписывали при тебе же, а ты смотрел и не читал.

Гоблины не обороняли пещеру. Гоблины её сдавали — по залу за раз, аккуратно, как сдают карты, оставляя себе одну: заманить пришлых туда, где у племени, кроме старика, не осталось ровным счётом ничего, дать старику уронить дальние своды на чужаков, а своих увести норами, которых пришлые не знали. Данце ударил его на полуслове — и то, что старик держал в горсти для трёх дальних залов, вырвалось и пошло гулять по всей горе, не разбирая, где свои, где чужие.

Их подвело то единственное, чего в таком расчёте не предусмотреть: к старику пробился не обычный наёмник, каких сюда уже приходило восемь и ни один не ушёл, а дворф, который действительно умел воевать — и действовал он быстро.

Гоблины в Гойсане были вовсе не глупы. Им просто попался капитан.

Серое пятно входа выросло, распахнулось — и они вывалились наружу в облаке пыли и грохота: Корин, Паэлиас, Боблин, Крек.

Из всего, что капитан наприказывал за этот поход, сбылась ровно одна команда — запасная. «Бежать». Её, единственную за весь Гойсан, Данце и исполнил дословно — да ещё, как всё у него, с избытком: бежать он взялся распоряжаясь.

Данце выходил последним.

— Не толкаться! По одному! Капитан сходит послед...

Он почти успел.

Каменная плита размером с добрую телегу рухнула ровно там, где дворф делал последний шаг к свету. Точку в его команде поставила она. Оба топора выпали из разжавшихся рук и звякнули о камень чуть раньше, чем всё стихло.

Крек зарычал. Не от ярости — от чего-то, что стояло к боли ближе, чем к гневу. Боль у него всегда была тихой; он не умел кричать о потере, умел только сжимать кулаки, пока не белели костяшки под зелёной кожей.

Он рванулся к завалу.

— Стой, — бросил Корин, но орк уже не слышал.

Крек вгрызался в камни голыми руками — снимал плиту за плитой, сдвигал обломки плечом, не думая о том, что сверху ещё держится половина свода. Осыпь текла ему на затылок; один камень ударил его ровно туда, где под кожей сидел обломок гоблинской стрелы, — так, что Корин вздрогнул вместе с ним. Крек только рыкнул и продолжил. Паэлиас и Корин оттаскивали то, что было им под силу, то есть немного. Боблин молился — быстро, шёпотом и, кажется, впервые в жизни искренне.

Когда капитана наконец вытащили, он уже не дышал. Паэлиас снова положил ладони — на разбитый лоб, на грудь, — снова звал свет, и свет снова не пришёл. Второй раз за день. Паладин остался стоять на коленях с пустыми руками, и вид у него был такой, будто из-под него, как из-под Данце, тоже выбили опору.

Корин стоял чуть в стороне и делал единственное, что умел делать в такие минуты: считал.

Шестеро, считая Боблина, вошли в пещеру. Четверо вышли. Пятый шёл последним — и вот это в столбце не сходилось. Данце рванул за приманкой, никого не дожидаясь, и первым же провалился в яму. Данце пошёл на шамана один, пока все ещё разбирались с воргом. Данце лез вперёд всюду, где лезть было незачем и опасно, и делал это шумно, чтобы никто не пропустил. Такой человек не отстаёт в дверях случайно.

Полурослик перебрал в памяти всё непрерывное капитанское враньё, какое слышал с той самой камеры, — про тридцать душ, про потопленный корабль, про море, которое дураков не берёт, — и не нашёл среди него ни единого раза, когда бы Данце похвастался этим. Ни разу. Ни словом. У человека, хваставшегося решительно всем, было одно правило, о котором он молчал, — и он не нарушил его даже в тот момент, когда молчать уже не имело никакого смысла.

Команда сходит первой.

Корин не сказал этого вслух. Он вообще редко говорил вслух то, что записывал внутри себя, — а в тот вечер записал накрепко, в тот самый столбец, откуда потом не вычёркивают.

Крек не стал никого спрашивать. Он сорвал с себя рубаху — и на плече у него открылось то, о чём он с полудня не сказал ни слова: чёрный от запёкшейся крови обломок древка и вокруг него кулак вздувшегося мяса. Орк обмотал рубахой тело — грубо, но крепко, — поднял дворфа на плечо, подобрал оба топора и повесил себе на пояс, где они смотрелись как игрушечные. Данце был тяжёл, как дворфам и положено. Крек не жаловался. Жаловаться он умел только лошадям.

Паэлиас поднялся и пошёл к завалу.

Он искал место. Он честно, добросовестно пытался сообразить, где под этой грудой камня, пыли и обрушенного свода осталась ниша, в которую Крек уложил северянина, — и не сообразил. Гора легла на всё сразу и разбираться, что где, не сочла нужным. Плащ, секира, сложенные на груди руки — всё это было теперь просто внутри горы, как бывает внутри земли, и никакой разницы гора между этим не делала.

Паладин снял перчатку и положил ладонь на камень. Ладонь была тёплой, честной и бесполезной — третий раз за день, и третий раз это ничего не переменило.

— Господь, прими раба твоего Хролла... — начал он и осёкся, как осёкся утром.

На этот раз его никто не перебивал. Перебивать было некому. Он замолчал сам, потому что дальше полагалось сказать, кем был покойный, — а Паэлиас знал о нём ровно две вещи: имя, и то, что имя это Хролл назвал не сразу, а лишь перед общим делом.

— ...Он хорошо бил и мало врал, — закончил паладин.

Эпитафия вышла короткой и, возможно, самой честной из всех, что северянину могли достаться.

Могилы Хроллу не копали. Ему досталась гора — целиком, со всем, что в ней было, включая тех, кто её на него уронил. Не всякому королю на этом свете достётся столько камня. Правда, королей об этом обыкновенно спрашивают.

— Тот остался в горе, — сказал Корин, глядя, как Крек перехватывает тело на плече поудобнее. — Этого ты понесёшь. Два дня, на плече, до самого Зиндагара. Это не упрёк, это арифметика. Объясни мне разницу.

Крек остановился. Повернул голову — медленно, тяжело.

Внутри у него ответ сложился длинно и стройно: о том, что за всю его жизнь один-единственный дворф разговаривал с ним как с матросом, а не как с орудием; что чертей отгоняют не молитвами, а тем, что кто-то сидит рядом до рассвета и врёт про китов; и что если такого капитана оставить под камнями, то чертям за веками больше незачем будет ждать — они и так победили.

Наружу, как всегда, доплыло не всё.

— Крек не бросать, — сказал он.

Корин кивнул. Кивок полурослика в такие минуты означал «понял» — но не «согласен», и уж тем более не «одобряю». А про себя он додумал то, чего говорить не стал: у Хролла своего Крека не было. На Карангарском берегу это решает больше, чем справедливость.

Боблин топтался поодаль, и по лицу его было видно, что совесть и ноги тянут его в разные стороны. Ноги побеждали.

— Пещера завалена... я это... рапорт, — сказал он, пятясь. — Лейтенант ждёт. — И добавил вдруг, серьёзно, глядя на рогожу Крекова тюка: — Я доложу, как было. Слово.

И побежал, придерживая шлем, — а в кулаке уже сжималась бумага, которой предстояло стать самым честным документом в архиве лейтенанта Омидора. Никто не стал его останавливать. Уговор есть уговор: Боблин вернётся живым.

— Капитана вернуть, — сказал Крек, глядя ему вслед. Потом повернулся к Корину. — Можно?

Голос у него вышел простой и прямой, как у того, кто ещё не научился стыдиться надежды.

— Маги, — сказал Корин, помолчав. — Такое, говорят, делают маги. Не всякие, не всегда — и за такие деньги, что дешевле лечь рядом. Больше никто.

— Господь допускает чудеса, — тихо сказал Паэлиас. Он всё ещё стоял на коленях в пыли. — Но чудеса редко бывают даром. И не всегда — от Него.

— Крек нести, — сказал орк. — Кто-то — решать. Быстро.

Одно слово у него уже было сказано, другого он подбирать не стал. Иногда одного слова хватает, чтобы объявить войну самой судьбе. Судьба, как правило, такие войны выигрывает. Но, случается, соглашается и на ничью.

Дорога назад оказалась длиннее, чем туда. Трупы всегда тяжелеют — не только физически.

До деревеньки у тракта добрались уже в темноте. Повозку сторговали у старосты — старую, скрипучую, с колёсами, которые помнили лучшие времена; платил Корин, и платил из мешочка, подброшенного туганом. Так рогатый, сам о том не ведая, оплатил капитану катафалк.

Лошади у старосты не нашлось — вернее, была одна, да старик заломил за неё как за родную. Корин махнул рукой. В оглобли встал Крек. Мертвецов лошади не любят, а Крек не стал бы неволивать лошадь тем, чего она не любит: на то он и любил их больше людей. Да и капитана орк не отдал бы никому — ни чужому вознице, ни самой смирной кобыле: этот груз был его собственный, и делить его он не собирался. Он завёл широкие плечи между оглоблями, попробовал вес — телега скрипнула, дрогнула и покатила за ним послушнее иной упряжки, — и буркнул что-то на орочьем: себе ли, дороге ли, тому ли, кто лежал в кузове.

Тело уложили в кузов, перевязали верёвками, прикрыли рогожей. Топоры Крек положил капитану под бок — «Левую» справа, «Правую» слева, накрест, как тот их носил и выхватывал: каждую — противоположной рукой. Положил так, чтобы и мёртвому было под руку.

Ночевать в деревне не стали. Староста, приняв деньги, отвёл глаза и не предложил ни сарая, ни угла у печи, и настаивать никто не стал: с телегой, из которой пахнет, в гости не напрашиваются. Отошли за околицу, к ольшанику у ручья, и развели костёр — маленький, злой, из сырого хвороста, дававший больше дыма, чем тепла.

Крек сел, как садился всегда: спиной к огню, лицом к темноте. На этот раз, впрочем, лицом к телеге.

Корин молча достал клещи, обтёр их о полу куртки и кивнул орку на спину.

— Повернись.

— Крек не надо.

— Крек надо. Крек завтра потащит эту телегу до самого Зиндагара, а с железом в плече телег не возят. — Полурослик подождал, дал слову дойти и добавил то, что, по его расчётам, должно было дойти вернее: — Это не свет, зелёный. Это клещи. Ими я кормился, когда ты ещё пугал коров.

Довод оказался понятным. Крек повернулся спиной и стал смотреть в темноту.

Корин работал молча, не жалея и не торопясь: разрезал, раздвинул, нашёл, взял. Наконец вышел неохотно, как выходит из доски глубоко забитый гвоздь. Орк не издал ни звука — только когда всё кончилось, повёл плечом, проверяя, и сказал в темноту:

— Хорошо.

— Само собой, хорошо, — проворчал Корин, вытирая клещи. — Я, к твоему сведению, лучший зубодёр по эту сторону Зиндагара. Спроси в трёх корчмах — подтвердят.

Он не стал говорить, что это была первая за много лет работа, за которую он не взял ни медяка. Это он тоже записал куда-то внутрь себя — только в другой столбец, которого до сих пор у него не было.

Паэлиас достал блокнот.

Он сидел над ним долго. Страница была та же, первая и белоснежная, и на ней по-прежнему стояло, что он вызволил деву из рук злодеев. Ниже полагалось написать про Гойсан. Паладин обмакнул перо, подержал его над бумагой, пока с кончика не сорвалась и не расплылась клякса, и убрал перо обратно.

— Не пишется, — сказал он.

— Не пишется, — согласился Корин, не отрывая глаз от костра, — потому что писать нечего. Хроники пишут про победы.

— Мы победили.

— Мы выиграли драку. — Полурослик подкинул в огонь ветку и посмотрел, как она не загорается. — Но как-то неудачно все вышло.

Он помолчал, а потом всё-таки снова посчитал вслух — тихо, для себя, как считают, чтобы убедиться, что ошиблись:

— Из Зиндагара вышло шестеро. Обратно идут трое. Один едет. Один убежал докладывать. Один остался. — Он поднял голову. — Двое суток. Нам обещали прогулку. «Дельце. Небольшое. Почти прогулка» — так, помнится, сказал лейтенант. А я ещё переспросил: насколько «почти».

— Он не знал.

— Он не хотел знать, — сказал Корин. — За нежелание знать кто-нибудь всегда платит. Обыкновенно тот, кого послали.

Костёр шипел. Из темноты тянуло ручьём, сырой ольхой — и ровно, терпеливо, отовсюду сразу — тем, что лежало под рогожей и уже начинало о себе напоминать.

— Хролл, — сказал вдруг Крек.

Он сказал это в темноту, не оборачиваясь, и все поняли: орк не спрашивает и не начинает разговора. Он просто произносит имя, потому что произносить его больше некому.

— Что — Хролл? — осторожно спросил Паэлиас.

Внутри у Крека сложилось длинное. Он до сих пор помнил, как в таверне у причалов ждал до самого вечера, когда же назовут цену за придвинутую кружку. Цену так и не назвали. Теперь уже и не назовут.

Переправу одолело одно слово.

— Пиво, — сказал Крек.

Больше он ничего не прибавил, и никто ничего не спросил. Паэлиас потом ещё несколько раз принимался думать, что бы это могло значить, и не додумался. Всё, что он знал о Хролле, по-прежнему умещалось в две строки, и одна из них была именем.

— Мы за ним вернёмся, — сказал паладин.

— Не вернёмся, — сказал Корин.

Сказано это было без злобы и даже без обычной желчи — так сообщают о погоде. Паэлиас открыл рот, чтобы возразить, и обнаружил, что возражать нечем: гора лежала на пещере, пещера лежала на дороге, по которой они больше не пойдут, а между «мы обещали» и «мы делаем» на здешних дорогах помещается вся человеческая совесть — и помещается с запасом.

— Тогда зачем мы несём этого? — спросил он наконец. И тут же пожалел: вопрос вышел не тот, который он хотел задать, а тот, который он от себя прятал.

— Затем, что этого ещё можно донести, — сказал Корин. — Вот и вся разница. Она мне нравится ничуть не больше, чем тебе. Но других разниц на этой дороге не выдают.

Паэлиас закрыл блокнот, так ничего и не написав.

А Корин ещё долго сидел у гаснущего костра и вертел в голове три слова, сказанные зло, через губу, не глядя — вечером первого дня, на тракте, женщиной, которой не бывает. Он не знал, к какому замку этот ключ. Он даже не был уверен, что это ключ. Но полурослик за всю свою жизнь не выбросил ни одной вещи, хоть отдалённо похожей на отмычку, — и начинать не собирался. Особенно теперь, когда в телеге у него лежал мёртвый капитан.

Тронулись на рассвете. Паэлиас пошёл рядом с телегой пешком: то ли из уважения, то ли потому, что живому ехать вместе с мёртвым ему не позволяла совесть. Корин сел на облучок, раскурил казённую трубку и развернул казённую карту.

— Сначала Зиндагар, — сказал он. — За бумагой. Уговор исполнен — пусть лейтенант распишется. Без бумаги нас вздёрнут как беглых, и тогда уже никого возвращать не придётся.

— Потом? — спросил Крек. Слово «потом» он произнёс так, что было ясно: от ответа зависит, куда он понесёт капитана — и понесёт в любом случае.

— Потом Яшгар. — Корин пыхнул трубкой. — Маги, деньги и знакомства такого сорта водятся у рогатых. Наш рогатый — в Яшгаре. И вот ещё что, раз уж всё равно туда. Записка была вторая. В мешочке. «В Яшгаре. Буду ждать».

— И ты молчал? — Паэлиас остановился.

— Я проверял, кому про неё стоит знать, — сказал Корин, пожав плечами. — Страже — не стоило. Вам — теперь стоит.

— Рогатые, — сказал Крек из сумерек, и слышно было, как в его стиснутом кулаке скрипнули друг о друга клык и камень.

Повозка тронулась. Крек тянул её ровно и неутомимо и время от времени оглядывался через плечо на кузов — будто проверял, не исчез ли капитан по дороге. Капитан не исчезал и не отвечал. Впервые с той камеры он никем не командовал, и от этой тишины даже дорога казалась длиннее, чем была.

